

Александр АНДРЮШКИН

ГОРБИ И РОННИ

Политический роман

(Журнальный вариант)

*Автор посвящает роман тем, кто грузит семьями.
Все персонажи и события являются реальными,
включая сцены, происходящие в загробном царстве.
Если какие-то показанные в романе события
не являются фактологически доказанными,
это не значит, что их не было.
Вместе с тем автор надеется,
что потомки и наследники изображённых здесь личностей
(таких как М. Горбачёв, Р. Рейган и другие),
воспримут портреты как дань истории,
а отнюдь не попытку «очернить» или «призвать к суду».*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Нэнси Рейган родилась в 1921 году в Нью-Йорке у состоятельных и честолюбивых — однако молодых — неустроенных, нервных — родителей.

Мама её Эдит Лакетт была актрисой и уже повидала кучки букетов на сцене, но и папа, Кеннет Роббинс, выпускник престижного Принстона, считал себя суперзвездой.

Ясно было, что родители такие не уживутся...

Стремясь впечатлить актрису, папа растратил состояние ещё до того, как Америку накрыл кризис. Дружок со связями — из Принстона — предложил земельные участки: «Но за них, как ты понимаешь, надо платить...» — «Так я не для спекуляции, а открыть дилерский центр, продавать автомобили...» — «О'кей, тем более ты должен вложиться! А фирма "Форд" даёт скидки на первые три года...»

Дела пошли, дилерский центр работает? Так давай вечером пригласим на коктейли, объявим приём? А потом? «Поехали кататься — на пляж!» Кататься на машинах было, конечно, приятнее, чем их продавать, чем печатать бумаги на машинке, да ещё эти чёртовы авто ломаются, а покупатель требует гарантийного ремонта...

...Мама учила Нэнси другому... Посуду мой тщательно, не ленись, а когда подметаешь, повторяй слова пьесы, ты должна знать роль наизубок!.. Мама происходила из хорошей семьи и считала, что театр как раз — для леди, а не для девчонок с улицы. Но

искусство есть подвиг, потому второго ребёнка Эдит твёрдо решила не заводить, хотя мужу об этом — молчок, пусть думает, что дело в его запоях. С годовалого возраста Нэнси жила в семье маминой сестры, маму почти не видела. А Эдит не бросала Кеннета лишь потому, что ждала, пока Нэнси пойдёт хотя бы в третий-четвёртый класс, то есть сможет сама вернуться из школы, покушать, одеться-раздеться... Такая девочка маме уже не обуза, а подмога.

И вот свершилось: мама встретила Лояла Дэвиса. Само имя какое лояльное: «Лоял»! И профессия ценная, редкая: врач-нейрохирург. Второй муж был не то что первый: к звёздам не взлетал, но и не упивался вусмерть. Правда, в Нью-Йорке он был лишь наездом, а жил в Чикаго, пришлось переехать туда. Но и там есть небоскрёбы и театральные подмостки, а мы, кстати, ещё и блеснём нью-йоркско-вашиingtonскими связями и культурой, мы ведь не с озера Мичиган...

Лоял тоже был разведён и имел сына Ричарда от первого брака, чуть младше Нэнси. Увидев его, Нэнси сразу поняла: с ним-то и будет первый секс! Так оно и вышло... Он не выдаст секрет — почти родня — сводный братец — как раз попрактиковаться! А любви вообще в мире никакой нет, это мама ей твёрдо внушила.

В Чикаго они уже посуду сами не мыли, имелась прислуга. Прислуга была и в первой семье, но там по молодости всё было тят-ляп. Здесь мама остепенилась: руководить негритянкой-служанкой — уже половина рабочего дня. А сколько вообще забот о двухэтажном доме, столько в нём комнат, а что купить на обед и на завтра и послезавтра, а график вести: в прошлый раз они у нас гостиwali, теперь мы к ним. Маме стало не до театра, а вот Нэнси...

... — А почему она «Нэнси»? — спросил как-то Лоял. — Ведь ты по бумагам Анна Франсис Роббинс, а мы пишем «Нэнси Дэвис»...

— Меня так с детства зовут... — неуверенно объяснила девочка, а мама хмыкнула:

— Тётка её так решила, а вначале... свекровь... Но мы привыкли, да, Нэнси? Нас это устраивает...

— ...Мы тоже будем звать тебя Нэнси, — объявил Лоял, и девочка не осталась в долгу:

— А я тебя буду звать папой! Ты мой настоящий папа, Лоял!

— Вот молодцы! — поспешила заключить Эдит. — Всё у нас наладилось — с помощью Бога и Лояла...

Он был врач непростой: клиенты — из высшего чикагского общества. И всё больше углублялся в науку: не сам оперировал, но уже учил других, как надо правильно оперировать, тридцать лет — до середины шестидесятых — руководил отделением хирургии Чикагского медицинского университета. Мама тоже: в женских комитетах теперь, в консультативных советах, читала дома пьесы — «определяла репертуарную политику»...

... — А ты, доченька, утвердись на сцене! С этого начни, как и я начинала. Но у тебя — благодаря нашей поддержке — будет выше стартовый уровень!

И Нэнси верила: уж она-то блеснёт! Как и мама, отучилась в театральной школе, учебного сыграно много, а вот и первый коммерческий спектакль. Играет служанку и выходит на сцену — при полном, кажется, зале, — и громко, чётко (как репетировала) произносит:

— Мадам, кушать подано!
("Madam, dinner is served!")

...Она переживает: роль крохотная, но — как-никак — первые выходы на сцену... Профессиональный, хотя всего лишь летний театр в Чикаго и окрестностях. Практиканток сажают продавать билеты, разрешают быть в зале и наблюдать за репетициями, а по просьбе ведущей актрисы незаметно и сбежать отнести записку и доставить ответ и вообще сделать, что попросят...

...Но вот, быть может, главный вопрос и главный разговорец с мамой.

— ...Мамочка, в театре письмо радикалов нашли и листовку. Директор вызвал, а там сидел мужчина из ФБР — из тайной полиции. И директор сказал, чтобы я поговорила наедине с ним, если, мол, хочу хороших ролей... Это что же, я должна быть осведомительницей?

...Почему-то Эдит молчала, а Нэнси казалось, что мама сразу скажет «нет-нет». Но вопрос получался не столь простым...

— Ты знаешь, кто такой Спенсер Трейси? — спросила мама.

— Спенсер Трейси? Ну да, твой друг, ведущий актёр кино...

— Правильно. А Кларк Гейбл?

— Кларк Гейбл — знаменитый актёр! Что, и он... Тоже с ФБР?

— Я не об этом, дочка. Ты уже взрослая... И начинаешь понимать роль женщины. Мы, женщины, сделали Америку. А мужчины нам подыгрывают...

... — А если не подыграет? — не могла не вставить Нэнси, чертёном таким.

— Не надо, дочь! — рассмеялась мама. — Подыграют. Потом не он должен решать, что и о ком ты ему сообщишь, а ты должна это решать. Запомни мой самый важный совет. Ты должна сама увидеть главное и рассказать об этом главному мужчине. В этом наша роль.

— Ничего не понимаю... Так мне что, с джентльменом из ФБР встречаться и дальше?

— А в чём проблема? Встречайся. Ты с ним поговорила, чем закончилось?

— Ничем, он сказал, что будет на связи.

— Ну и пусть будет на связи! Мы в этом не слишком участвуем. Вот твой дедушка, мой покойный отец... — мама всхлипнула. — Вот он был мастер полицейских досье и интриги... Он про полицию... всё знал насквозь!

...Ничего не поняла Нэнси! «Самый важный совет», «мы, женщины, сделали Америку», и тут же: «Мы не слишком участвуем, а вот дедушка»...

Так мы «участвуем» или «не участвуем»? Но раз мама сказала «расслабиться», так она и поступит. У Нэнси уже была своя тайная жизнь: от учителей в школе и от священника в церкви, от мамы, от Лояла, теперь будет — от ФБР...

... — Ты должна вернуться на Восточный берег! — вот ещё что внушала ей мама. — Об этом и говори с директором театра, с ФБР, хоть с Ку-клукс-кланом. Нью-Йорк, Бродвей, ведь ты об этом мечтаешь, да, Нэнси?

Нэнси не только мечтала, она и уехала скоро в Нью-Йорк. А первую крупную роль получила лишь в 1945-м — после пяти лет работы в театре, но всё в массовке и на мелких ролях. Какая-то там шла Вторая мировая война — она и не замечала её, так уставала от репетиций, спектаклей, просмотров. Японцы разбомбили, мы в ответ разбомбили — но это всё далеко, и это для мужчин: слава Господу, в Нью-Йорке никто никого не бомбил.

Её волновало другое: вот такие вербовочные подходы, — она могла бы их назвать эвфемизмом, но не видела смысла лукавить. Джентльмены в штатском появлялись и в Нью-Йорке, и всё время одно и то же: она должна им что-то там сообщать... «Вы же хотите хорошие роли?» Делала вид, что не понимает, не соглашалась — но и ролей не было! (Только на подпевке и подтанцовке — она подрабатывала в нескольких театрах, но это нельзя назвать ролями.) Молодая девчонка, но уже привыкшая быть неуспешной актрисой — год за годом... Всю Вторую мировую провела в Нью-Йорке, это как? (То, что война идёт, Нэнси, конечно, знала, хотя и не обращала внимания...)

Знать — и одновременно не знать, интересоваться, но говорить, что тебя это не колышет... С ума можно сходить!

У Нэнси была одна внешняя особенность: очень тяжёлая нижняя челюсть. И во всём лице, и в манере много мужского. Это притягивало к ней... скажем так: мальчиков и мужчин со странностями, она со школы слышала их признания. «Я хочу целовать твои ножки! Целовать всё, что под платьем...»

...Может, она, и правда — мужчина в юбке? Позже — с Рональдом уже — научилась это скрывать: придумала себе поднятую надо лбом причёску. Открытый лоб и этот «валик» над ним: блестящий от лака ореол или гребень волос — и глаза, распахнутые на тарелке лица. Открытый лоб отвлекал от нижней челюсти, но в Нью-Йорке в сороковые... Она этого не прятала. Господь дал лобик небольшой, и она ещё его уменьшала надвинутой чёлкой, да плюс челюсть, и ещё этакий мужской поворот скулы... Резко показать свой профиль — и перекинуть тему разговора — как в театре новый поворот пьесы...

... — Да, дорогой! Что ты сказал?.. Я согласна...

Почти мелодически, но при этом и с жёстким призывком. («Я согласна», значит, «так тому и быть»...)

У мамы имелась властность в характере — Нэнси её унаследовала. А вот внешне напоминала отца, Кеннета — эти его тяжёлые, крестьянские, как бы топором вырубленные черты. Она знала, как действует на людей: молчи, обдумывай и не торопись, — а уж он сам заколит и завилает перед тобой. Такой у неё появился «куратор» из ФБР, лебезил, и она сама решала — не торопясь — что именно сообщить ему, кого «прозакладывать»...

...А ролей всё равно не предлагали! Она не сдавалась, учила наизусть целые пьесы — да вот кому прочитать-то их?

Прорыв случился лишь в сорок пятом. Мама её успокаивала. («Ты ещё молода... До тридцати лет время тянется, можешь тратить его как хочешь. Потом оно ускорится...») Мама в своей жизни время потянула: её родила в тридцать три, за Лояла вышла в сорок один, хотя он думал, что ей нет сорока...) Нэнси в сорок пятом было всего двадцать четыре, но который год в Нью-Йорке и всё — в массовке, всё хористка и подтанцовка, без нормальной роли, без упоминания имени! Чувствовалось, что и мама почти дошла до истерики: приезжала в Нью-Йорк одна и с Лоялом, о чём-то договаривалась, уезжала, и всё опять рушилось. Спенсер Трейси — проклятий не хватало — алкоголик!

Якобы мамин друг, обещал помочь — и во всём обманул. Низкий лоб (как и у Нэнси), жизнерадостная рожа, играет... якобы первых любовников, но именно «якобы». Слу-га, курьер, исполнитель чужих решений, оптимистический палач... Таких мужчин, как Спенсер Трейси, Нэнси научилась избегать, а вот Джон Хаусман, постановщик «Лютневой песни»...

Он почему-то увидел в ней сходство с китаянкой. Мэри Мартин — мамина знакомая — обеспечила себе главную роль в этом мюзикле, привела Нэнси к Хаусману, и тот сразу:

— Ты похожа на китаянку!

— Да? — Нэнси в полупоклоне — полукниксене — настраивалась на Восток, знала, что мюзикл о Китае... — Спасибо, сэр! Я имею отношения к Китаю такие же... как театр «Плимут»... — она рассмеялась собственной шутке. — То есть очень люблю!

— Так-так... — Хаусман оценивающе её рассматривал, она его — исподтишка. Он считался на Бродвее восходящей звездой: режиссёр и актёр, продюсер, драматург, в общем, на все руки мастер. Ещё молодой, нет пятидесяти, но уже с брюшком и с залысинами — папашка по виду. Перевела взгляд на редкие волосы на его макушке, потом чуть выше, потом опустила взгляд вновь на его лицо, получилось — презрительно, что ли...

— Вы знакомы с текстом?

— Да, сэр, прочитала.

— Прочитала — хорошо, а петь? Значит, вы рассматриваетесь на роль второго плана, но она важная. Серьёзный дебют.

— Я согласна, сэр.

— Вы согласны... Но мы ещё должны вас прослушать...

Нэнси говорила с ним, находясь в полукотловке. Кто нами правит? Джон Хаусман — румынский еврей — решает её, американки, судьбу. Пока жил во Франции, именовался Жаком Хусманном, приехал в Нью-Йорк и стал Джоном Хаусманом. По маме, правда, англоязычный: Мэри Мартин говорила, что его мама — ирландская католичка. Болтает по-английски так же свободно, как любой коренной американец. Но по отцу — румынский франкоязычный.

...Хаусман, действительно, блистал: всё помнил, всё успевал, буквально забалтывал нужных ему людей, не давая им слова вставить. Английский, действительно, всосал с молоком матери и пользовался им виртуозно. Но при этом всё время казался иностранцем, будто в уме переводил с одного наречия на другое.

... — С ролями второго плана проблем не будет, — говорил Хаусман, переводя взгляд с Нэнси на Мэри Мартин и обратно. Это уже была их вторая встреча, и на ней опять присутствовала мамина подруга Мэри Мартин — Нэнси очень просила её походить-тайствовать. — А вот что нам делать с вашим партнёром, вашим... мужем по пьесе?

— А что делать, вы же решили! — удивилась Мэри. — Юл Бриннер, разве нет?

— Юл Бриннер, русский, — задумчиво произнёс Хаусман и добавил с непонятым прононсом: — Юрий Борисович Брюннер... Опять скажут, устроили международный цирк!

— Да он только по происхождению русский! — успокоила Мэри Мартин.

— Знаю я! — отмахнулся Хаусман.

— Юла Бриннера в годолавом возрасте увезли от Советов, — продолжала Мэри, объясняя всё это уже не для Хаусмана, а как бы и для Нэнси. Она была старше Нэнси на десять лет, но держалась как совсем молоденькая, и даже Нэнси ей поощрительно кивала — улыбалась — в своей скупой, почти мужской манере. Но помнила, что именно Мэри — а не Хаусман — была тут главной звездой и главным двигателем всей этой постановки. Её имя гремело в Нью-Йорке, в Чикаго, она готова была — казалось — подхватиться и в любой миг куда-то улететь, и при этом отнюдь не вела себя капризно — наоборот, всё сглаживала и проявляла «звёздную милость» к тем, кто — казалось — её же и столкнул в унижительную яму.

— ...в общем, так, — перебил Хаусман Мэри и повёл кистью — тыльной её стороной — по направлению к Нэнси, как бы отсылая её прочь. — С вами решили: через три дня финальная прослушка пения, успеете?

— Да, сэр.

— Тогда и решим. До свиданья.

Мэри улыбнулась Нэнси успокаивающе.

— А с вами, — Хаусман повернулся к Мэри, — давайте ещё вот что обсудим...

* * *

Нэнси утвердили на роль в мюзикле «Лютневая песня», и это стало её «триумфом на Бродвее». Хотя, если честно, роль-то была всего на шагок вверх от «кушать подано».

В «Лютневой песне» она тоже играла служанку, хотя такую, которая всю хлопочет и даже дёргает за ниточки, направляя хозяев туда и сюда.

На премьеру в Нью-Йорк из Чикаго приехали мама и Лоял, и был роскошный вечер в «Сарди» — гуляла вся труппа. И Кларк Гейбл появился; после «Унесённых ветром» он был на недостижимой высоте, однако Нэнси видели с ним целую неделю (всего неделю, если иначе повернуть).

«Лютневая песня» шла на Бродвее и на выезде, на гастролях, с зимы до осени 46-го года. И Нэнси была полноправным членом труппы. Гримёрка по соседству с той, где готовилась к выходам Мэри Мартин, недалеко от гримёрки Юла Бриннера, русского эмигранта, исполнителя главной мужской роли.

...Он был практически её ровесник, двадцатипятилетний. По-французски болтал, как француз (с Хаусманом), а по-английски с акцентом и с ошибками — Нэнси вынуждена была его поправлять. При этом он ведь был женат на американке — тоже бродвейской дебютантке — Вирджинии Гилмор. То есть английскому учился быстро.

А вообще-то противный он был парень, этот Юл Бриннер. Может, слишком входил в роль китайца? Преждевременно лысеющий; не скрывал от Нэнси, что пробовал курить опиум (и показывал ей трубку), но теперь якобы бросил.

От его опиумной трубки пахло то ли нью-йоркской помойкой, то ли корабельным гальюном. Этот горький запах связался в уме Нэнси с понятием «русскости».

Глава вторая

О чём был мюзикл «Лютневая песня» — премьера Нэнси Дэвис на Бродвее?

Это была старинная китайская история, потому-то она по-настоящему не прогремела. Так, средненький полу-успех.

Молодожёны — их и играли Мэри Мартин и Юл Бриннер — вполне счастливы и строят планы. Мужу как раз открывается путь: он должен сдать экзамен и получить высокую должность китайского чиновника, вызубрив неимоверное количество разных сведений, экзамен он сдаёт, но к должности прилагают условие: он обязан жениться на дочери князя. Что он и делает, расставаясь с первой, любимой женой, а потом всю пьесу любящие пытаются воссоединиться. Они поют дуэты, не видя друг друга, как бы общаясь на расстоянии.

Наконец, вторая жена жалилась и разрешила оставить её. (На эту роль Нэнси также не рассматривали, её отдали Долли Хаас.) У самой Нэнси роль — передавать записки туда и обратно, падать на колени перед князем и молить его о том и о сём... Спустя годы она вспоминала бродвейский дебют с некоторым удивлением. Ведь это была её тема — помогать другим людям. Она и в кино потом играла в похожих сюжетах, например, в фильме, который считала своим лучшим, "Night unto Morning", «Из ночи в утро».

Но это будет позже, а пока — она не ходила, а уже летела над жизнью. Успех, первая роль на Бродвее! «Лютневая песня» чем-то напоминала японскую пьесу «Чио-Чио-сан», из которой сделали «Мадам Баттерфляй», и она уже полвека гремела по всему миру. Почему бы им так же не прославиться? Мозг работал чётко, решения принимались блестящие, внимание — повышенное; и одновременно — в целом — Нэнси потеряла способность соображать, здраво оценивать себя и мир. Успех, он сродни опьянению... И Нэнси вовсе не удивилась, когда в толпе в вестибюле театра «Плимут» узнала ярчайшую звезду — самого Кларка Гейбла!

...И первой подошла к нему! Смело — напрямик — ничего не взвешивая и не считывая...

... — Я знаю: вы совсем не тот скандалист, которого вас заставили сыграть в «Унесённых ветром»!

— О? Не тот?

— Да! И девушки, я уверена, были не такими, для Вивьен Ли и Оливии Хэвиленд написали роли совершенно нелепые. Особенно для главной героини — Скарлетт...

— Та-ак... Я уже догадываюсь, какая ваша версия... Как, вы сказали, вас зовут?

— Нэнси Дэвис. Но мою маму вы знаете под именем Эдит Прескотт Лакетт.

— О, Эдит Лакетт! Ну да, я знаю её и её мужа... секунду... Лояла!

Тут Кларк Гейбл сверкнул той улыбкой, которая, собственно, и была его главной приметой — важнее, чем эти пошлые «итальянские» чёрные усики и чем этот как бы приклеенный к низковатому лбу завиток чёрной чёлки. Вернее, эта внешность красавца — плюс улыбка — и была его стилем. Красавица-женщина может принять скандальную позу, а мужчина-звезда — вот так напояк улыбнуться, отнюдь не напрягая мышцы (которые у него, несомненно, красивы), но, напротив, скорее намекнув на расслабленность...

— Да, Лоял Дэвис — это мой отец, — подтвердила Нэнси.

— Эдит Лакетт Дэвис и её муж Лоял Дэвис... — повторил Кларк Гейбл и вдруг принял решение: — Давайте-ка пообедаем завтра. В четыре вы свободны?

— Боюсь, что нет... Но в пять...

— Давайте адрес. В пять я заеду за вами.

...Всё было как в фильмах про богатый класс, с поправкой на то, что она — Нэнси — вносит поправку в этот фильм. Ему сорок пять, он с кем-то расстался и ищет развлечения, ему удобно появиться с девочкой двадцати пяти лет, а то, что она при этом ведёт серьёзную беседу...

Во-первых, и Скларетт в «Унесённых ветром» тоже пыталась воспитывать героя Гейбла (Ретта Батлера), — хотя в конце (Нэнси права) её роль превратили в какую-то чушь. Во-вторых, это вообще нередкое для молодых девочек амплуа: так сказать, инженеру, но с установкой на сознательное жизнестроительство. С опытом брака и материнства этот максимализм пропадает, но, пока он есть, он прекрасен; и почему бы им не насладиться?

И Гейбл, действительно, заехал за ней без четверти пять, и вот они сидят за столиком ресторана, и он напоминает ей о вчерашнем разговоре... (Искоса взглядывая на неё с юмором, но и... с уважением! Какая мощная нижняя челюсть... и поворот шеи! У этой девочки мужские повадки...)

... — Вы сказали, что я не тот скандалист, а девушки в «Унесённых ветром» ведут себя глупо. Сценарий, стало быть, нехорош... Но, может, в его простоте и секрет успеха?

— У фильма громадный успех, не отрицаю, — кивнула Нэнси. — Но с тех пор его уже пытались повторить — или отснять примерно такой же набор. И успеха не было!

— А «Лютневая песня», значит, будет успехом?

— Спасибо, что похвалили...

— А я не хвалю... И не смотрел ещё ваш мюзикл...

— Приходите, я приглашаю!.. Хотя вижу в спектакле некоторые недостатки: это всё-таки китайская история... А вот американскую бы... Да ещё и... как бы сказать...

— Так-так! Я бы вас познакомил с одним сценаристом, если бы не опасался, что он уведёт такую красотку...

Нэнси пожала плечами:

— Вообще-то сценарии писать — это совершенно не моё...

Последовало молчание, во время которого она подумала...

— ...Девушке-актрисе пробиться непросто, но хорошо, что свою работу делает ФБР, — вдруг заявила Нэнси, как в холодную воду нырнула. А он внимательно на неё посмотрел, ожидая продолжения. — Мама мне всегда говорила... — Нэнси запнулась.

— Но я только начинаю на этом пути, я имею в виду ФБР...

— Тут главное — начать, — Кларк Гейбл поощрительно улыбался и медленно кивал.

— Что касается «Лютневой песни», — продолжала она, — то мы никаких не допускаем... Тут у нас всё — smart and collect («умно и собранно») — эту непонятную фразу она снабдила ослепительной улыбкой и отрезающим жестом руки.

— Это главное!.. — опять подыграл ей Гейбл.

— Да! Но я только начинаю... — Она подумала о том, что на тему ФБР обязана была заговорить, но сказать-то ей, по существу, нечего. — Вот в Голливуде я смогу быть по-настоящему полезной...

— Ага! Значит, о фильмах вы заговорили не просто так! — он помогал ей уйти от опасной темы. — Бывает ведь, что не могут определиться: театр или кино? А вас всё-таки больше тянет...

— Меня больше тянет кино! — заявила она с апломбом. — Но я не из тех, кого очаровывают детали и кто не видит главного. Я всегда обращаю внимание на сценарии фильмов, хотя сама, как я уже сказала, их не пишу и писать не думаю...

— Знаете... — Гейбл скомкал салфетку и решительно вытер ею рот под усами. — Возвращаясь к «Унесённым ветром», я думаю, что это просто слишком длинный фильм — затянутый! Ничего не имею против Дэвида Селзника — Же-лез-...ника, ведь он был продюсером фильма, вы знаете... Но вот он как раз любит вмешиваться в сценарии, что и делал в фильме «Унесённые ветром». А получается у него не всегда, Хичкок им был недоволен. Селзник ведь эмигрант из России, еврейского происхождения, как и ваш Хаусман, — добавил Гейбл. — Они всё-таки не слишком понимают массового американского зрителя...

Нэнси молча выразительно кивала, показывая, что согласна с ним, но произнесла совершенно иное:

— Джон Хаусман — великолепен! Я в восторге от него! — и, хохотнув, ослепительно улыбнулась, на что и он белозубо рассиялся и молча поднял вверх указательный палец, в знак одобрения...

...И ещё это повторилось раз или два: немая сцена: две сияющие улыбки — вполне

дружеские — надавливали одна на другую, причём нельзя было сказать, что улыбка мужская — увереннее или крупнее женской...

... — Чем вы занимаетесь сейчас? — спросила Нэнси, когда обед шёл к концу.

— О... Разными вещами... — Он сделал скучающие глаза и посмотрел вдаль за её спину.

Конечно, вопрос ему бессчётно задавали журналисты! «Над чем вы сейчас работаете?» Следующим будет: «расстался ли он вот с этой и планирует ли законно сочетаться браком вот с той». Но Нэнси не знала ни той, с кем он расстался, ни с кем он «намерен соединить свою жизнь». Звонила маме в Чикаго, но и та лишь просила передать привет, — хорошо, что он вообще вспомнил Эдит Лакетт...

Нэнси была в чёрном платье с закрытым горлом, с серебристой полоской на воротнике. Стиль «молодая учительница». А он... Держался так же, как в своих фильмах — неужели иного не умеет? Взгляд прямо в глаза, но без прощупывания: ничего не выражающий. Хотя некое пощипывание в груди (или в грудях?) она ощущала под этим взглядом. Но слабенькое: просто встреча со знаменитостью.

И удивительно: он казался ей очень послушным и напрочь лишённым начальственной воли. Это был именно актёр, как бы всё время ждущий указаний, что и как ему сыграть. И режиссёром в этом диалоге была она, двадцатипятилетняя Нэнси! Эта простая мысль поразила её, и она удивлённо посмотрела на Кларка... Неужели? *Ты хочешь, чтобы я сказала, как ты должен себя вести?!*

«Ну да, — ответил его взгляд. — Я привык, мне дают сценарий, вкладывают в меня слова, жесты...»

... — Как, должно быть, это волнует, сниматься в большом кино! — мечтательно произнесла Нэнси.

— У вас... Нет такого опыта? Совсем?

— Кинопробы в Чикаго, после которых мы не сошлись условиями, а здесь, в Нью-Йорке, я снималась на киностудии «Вестхилл»...

— О, это небольшая студийка.

— Да! Но меня они сняли в короткометражках — а ведь они их делают для телевидения. Оно быстро развивается, хотя не все в него верят...

Нэнси понимала, что ей не следует впадать в просительный тон. «Не могли бы вы порекомендовать меня...» Он сам это предложил — без всяких просьб с её стороны! И на третий день знакомства вручил ей письмо, на своём личном бланке. "To Whom It May Concern"..." («Заинтересованному лицу»...) Наполовину хохма: «Хорошая актриса... Рекомендую её на любую роль... Кларк Гейбл».

... — Если бы вы сказали, кому именно в Голливуде адресовать, я бы это сделал. Бенни Тау — Бенджамин Тау, студия «Метро Голдвин Мейер», главный по кастингу. Передайте ему это письмо и привет от меня... А если захочет подтверждения, пусть свяжется, он его получит! Ну а что я получу от вас? — Кларк поцеловал её руку и смотрел на неё чуть снизу вверх, преданными, почти собачьими глазами.

— Кларк... У вас столько побед... — укорила его Нэнси.

— ...Нужна ли ещё одна? — закончил он за неё и, чуть сжав, придвинул к ней её руку, словно возвращая свободу.

Это было в его гостинице «Беллринг», в ресторане, куда он спустился для позднего завтрака. А она заехала специально за письмом. В этот день спектакля у неё не было, но была дневная репетиция, куда она и отправилась из гостиницы. Вечером он устроил ей приглашение на приём, а теперь, отдав письмо, вышел из ресторана проводить её до дверей гостиницы. Ей показалось: в вестибюле толпятся журналисты...

Такое ощущение возникало у неё рядом с Кларком Гейблом: ей казалось, что вокруг него именно толпятся! Хотя журналистов могло быть двое-трое, а могло вообще не быть, но вокруг него, словно облако, возникал шум удивления. Например, когда он начинал идти в какую-то сторону или, наоборот — останавливался, передумав; вдруг вспоминал о чём-то...

Слава ему сопутствовала — и зачем тут вообще какая-то девушка?

После первой встречи с ним в ресторане у неё был вечерний спектакль — она устала, и ночью, как только легла в постель, отключилась сразу. Но и после второго совместного с ним вечера добралась до своей крохотной квартирки такой разбитой, будто сделала громадную работу, — и уснула, как выключилась.

Наверное, и правда, это была тяжёлая работа, сопровождать Кларка Гейбла. У него было много знакомых в Нью-Йорке, много дел, Нэнси во второй их совместный вечер сидела рядом с ним и почти только слушала (прикидывая, конечно, о чём позже полезно будет умолчать, а о чём рассказать кому *следует*... — полезно и для неё, и для него, Кларка!). К нему сначала подсел продюсер, потом актёрская пара, потом банкир, со всеми она лишь обменивалась любезностями и не могла понять: ей уйти, стушеваться? Но он её не отпускал, указывал на неё: «Вот Нэнси вам скажет...» «Правда, мисс

Дэвис?» Она понимала, что он использует её... «Пока мы не забыли, Нэнси... Вы меня простите, но у меня с мисс Дэвис одно дело...» — и за локоток её, прочь; а дела-то и нет никакого!

Его всюду звали, и везде ему были рады, и в самый последний вечер она попала вместе с ним аж на два приёма, в разных местах Нью-Йорка. Из первого места не хотели отпускать, и он чуть не со скандалом вырвался; из второго она удрала сама, не прощаясь с ним, — да он (чувствовала) и не будет останавливать...

Но оказал ей последнюю любезность. Она помнила, когда он должен был уезжать из Нью-Йорка, у неё в этот вечер был спектакль, проводить не могла. Вернулась к себе поздно, а на следующий день достала из ящика почту, и в ней — письмо от него. В конверте — опять же, его личный бланк, на котором всего несколько фраз: «Жалею, что должен уехать из Нью-Йорка! Увидимся! Вы забываемы!»

* * *

После премьеры «Лютневой песни» о мюзикле написала пресса, но как-то странно...

Дескать, декорации выше всяких похвал, их делал Роберт Эдмунд Джонс, знаменитый театральный художник. А сама пьеса, мол, так себе. Не спасает даже режиссура Джона Хаусмана (его упоминали) и общая талантливая постановка продюсера Майкла Майерберга (тоже во всех рецензиях — одного поля ягода с Хаусманом).

Далее рецензенты переходили к игре актёров. Исполнению Мэри Мартин ставили «отлично», Юлу Бриннеру — «хорошо», и то с натяжкой, остальных не упоминали. И вскоре мюзикл выпихнули с Бродвея в гастрольную поездку: так было легче продать билеты. Мол, «бешеный успех в Нью-Йорке, а теперь в вашем городе; единственное шоу, спешите видеть»...

Мэри Мартин до гастрелей не снизошла, вместо неё поехала дублёрша, а Нэнси ездила! Чикаго, де Мойн, Колорадо Спрингс, потом Сан-Франциско, потом опять Чикаго. В Чикаго мама и Лоял устроили спектаклю отличную прессу, впервые и об игре Нэнси в газете написали подробно. Но помещений не было: хорошие площадки в Чикаго заняты, а плохонькие сам продюсер Майерберг отвергал.

Как бы там ни было, труппа несла воздух успеха, выдыхала его на сидящих в любом зале; дуновением этим — Нью-Йорка, далёких заморских стран — очаровывали с первых же музыкальных аккордов, с первых появлений на сцене сначала второстепенных действующих лиц, потом — Юла Бриннера...

...Да, для Нэнси это был успех: получить вспомогательную роль, но такую, которую перечисляют в программках и на афишах. А уж для него какая феерия: роль главная!

Юл Бриннер летел высоко... Всей труппе рассказывал о своей семье — позёр ещё тот! Дескать, папа его, Борис Юльевич Бриннер, происходит из швейцарских немцев, но уже дед — отец отца — в царской империи — в России — играл заметную роль, сделал состояние на Дальнем Востоке России.

... — Не хочу преувеличивать, леди и джентльмены, — вещал Юл, — но мой дедушка владел и управлял сотнями тысяч акров лесов, горных массивов с полезными ископаемыми... Причалы и целые порты, — всё это сейчас экспроприировали большевики, да сгорят они в аду! Опять же, не хочу преувеличивать, но говорят, что и Русско-японскую войну 1904 года затеял мой дедуля: через Манчжурию и Корею нужен был прямой выход к морю, японцы артачились... Но это был наш регион, родители вывезли меня в Харбин, там я рос, там узнал многое о Китае...

Девочки-хористки, танцовщицы из массовки млели. Он умел поведать всё время о чём-то новом — на вокзалах, когда ждали посадки на поезд, в поездах, в вестибюлях гостиниц и театров... Мало ли у артистов минут и даже часов ожидания? Кто-то (те, кому положено) суетятся, телефонируют, скандалят: «Почему не забронировали?.. Была же телеграмма — всей труппе...»

Артисты ждут, не вмешиваются, хотя, если надо, помогают таскать реквизит. Коротают время такими вот байками и особенно любят тех, кому есть что рассказать. Юл Бриннер молод, но сопровождает его личный слуга-француз, с которым они негромко разговаривают по-французски, а потом, переходя на английский с акцентом... То о Франции, то о Китае, где он рос... С пустой трубкой в руках вспоминает для всей труппы, какой кайф давал опиум. Но теперь — шабаш! Только виски, шампанское и прочий алкоголь. Надо уметь себя сдерживать. На сцену он пьяный никогда не выйдет! «Вон ковбои приоделись, как же их разочаровать?» (Это с иронией, о зрителях города де Мойн...)

Юл Бриннер — не только блистает в главной роли, он — почти уже счастливый отец. Где-то в начале прогонов «Лютневой песни» забеременела его жена-американка, Вирджиния Гилмор (это псевдоним, настоящее имя — Шерман Пул). Трогательно

заботясь о её беременности, Юл не забывал ей изменять — и в Нью-Йорке, и на гастролях, — и не очень это скрывал. Аккурат на Рождество 46-го года она родила: теперь он был молодой американский папаша. Сыну дали имя «Рок» («Скала»), не подозревая ещё о том, что вскоре это имя приобретёт другое значение, станет первым словом в названии танца «рок-н-ролл».

Ещё до рождения у Юла сына, в конце 1946-го, Майкл Майерберг улетел в Лондон и там тоже организовал гастрольную постановку «Лютневой песни». В Лондон уплыл на пароходе и Юл, а Нэнси не взяли: на четвертые-пятые роли годились и лондонские певички.

Так распалась их труппа, возникшая вокруг лёгкой и воздушной Мэри Мартин и упорного маленького Юла Бриннера. Худенький (хотя и достаточно спортивный), он удивлял неожиданным густым басом: диапазон его пения был уникален. От спокойных низких нот до режуще высоких.

Нэнси с тех пор следила за ним: он играл то короля, то молодого фараона, о нём всё больше писали, например, о его кутежах. О том, как новым друзьям, пьяный, он дарит серебряный портсигар, а потом покупает себе другой. Он рано облысел и парика не носил: брился наголо. Наконец, он получил поистине звёздную роль, в фильме «Великолепная семёрка». Бешеный успех фильма во всём мире и место в Аллее славы Голливуда.

* * *

Однако Нэнси — по непонятной пока догадке — почти никогда и никому не признавалась, что знакома с русским по происхождению Юлом Бриннером. Муж Рональд позже расспрашивал — отвечала отговорками. «Давно это было... Пересекались мельком».

На всякий случай помалкивала. Однажды соврала, что незнакома с ним, а потом подумала: ведь это был правильный ход! Русские — враги Америки; хотя он — из «белых русских», он тоже враг коммунистов, но «не дразни беду», как говорит поговорка. И Нэнси молчала о том, что знает его. Она словно предвидела, что ей предстоит сближение с русско-советской четой Горбачёвых, и заранее исключала подозрения.

* * *

Что такое был Нью-Йорк сразу после Второй мировой?

Да, город богатей, резиденций, театров, гостиниц и ресторанов, но и город безработицы. Мёртвых улиц с домами когда-то красно-кирпичными, а теперь чёрными. Город ночлежек и нищих людей-призраков.

Сюда, надеясь заработать, съезжались сотни тысяч со всей Америки, и коренные нью-йоркцы злорадствовали. Мы мучились — и вы помучитесь...

Автор этих строк в Нью-Йорке бывал, разговаривал с одним квартирным хозяином, старичком-итальянцем, ещё помнящим те, послевоенные времена... А сколько фильмов о Нью-Йорке, художественных и документальных! Статую Свободы и главные манхэттенские небоскрёбы — Эмпайр стейт билдинг и прочие — узнает любой человек в мире. Или вот что пишет Стайрон в романе «Выбор Софи». Роман как раз начинается с рассказа о Нью-Йорке 1947 года, куда повествователь (в сущности, это автопортрет Стайрона) попадает 22-летним, отслужившим в армии и даже косвенно «повоевавшим» (хотя в прямом бою с японцами вроде как и не был)... Демобилизовался и устроившись младшим редактором в издательство «Макгроу-Хилл», и вот каким он увидел Нью-Йорк:

«Домом моим в ту пору была клетушка размером восемь на пятнадцать футов в здании, именуемом Клуб и резиденция университетов, на Одинадцатой улице Западной стороны Гринич-Вилледжа. Когда я приехал в Нью-Йорк, это место привлекло меня не только своим названием... но и скромной стоимостью: десять долларов в неделю... Клуб и резиденция университетов был лишь на одну крошечную ступеньку выше ночлежки, отличаясь от подобного рода заведений на Бауэри лишь тем, что в резиденции ты имел возможность уединиться, заперев за собою дверь. Авсё остальное, включая цену за постой, очень походило на ночлежку... От постояльцев — исключительно мужчин, по преимуществу среднего возраста или старше, неудачников или побирušек Гринич-Вилледжа, следующим шагом для которых были уже притоны, — при встречах в тесных коридорах с облупленными стенами исходил кислый запах вина и отчаяния. В вестибюле, сумрачно освещённом мутным светом единственной лампочки, дежурили, сменяя друг друга, клерки-рептилии, все с землистой, зеленоватого оттенка кожей, какая бывает у существ, лишённых дневного света; они же служили лифтьерами и отчаянно кашляли и поёживались от геморроидальных болей, пока единственный скрипучий лифт бесконечно долго взбирался на четвёртый этаж, где в ту весну я из вечера в вечер замуровывался в своей клетушке как не вполне нормальный анахорет...

Выйдя в пять из здания «Макгроу-Хилл», я спустился на Восьмой авеню в метро,

ехал (за пятипенсовик) до площади Гринич-Вилледжа, а там шёл напрямиком в угловую гастрономию и покупал три банки пива «Рейнголд» — ровно столько, сколько позволяли мне совесть и бюджет. Затем я приходил в свою комнатёнку, вытягивался на шишковатом матрасе, накрытом простынями, застиранными до прозрачности и пахнущими хлоркой, и читал... часов в восемь или девять отправлялся ужинать. Ну и ужины это были! Мое нёбо до сих пор отчётливо ощущает привкус сала после солсберийского бифштекса, который я ел «У Билфорда», или западного омлета, съеденного «У Райкера», как-то вечером я чуть не грохнулся в обморок, обнаружив в нём зеленоватое, почти истлевшее пёрышко и крошечный клювик эмбриона. Или хрип, засевший, словно уплотнённая опухоль, в бараньей отбивной, которую мне подали в «Афинской котлетной», причем от отбивной воняло старым бараном, а картофельное пюре было клейкое, прогорклое, явно воссозданное хитроумными греками из остатков государственных запасов, выкраденных с какого-нибудь склада. Но о том, как готовят в Нью-Йорке, я не знал, как не знал и многого другого...

Панорамных видов Нью-Йорка в романе Стайрона нет, — но Америка возникает между строк. Памятью о той эпохе роман налит доверху, и это единственное удачное, что в нём есть. Всё остальное в «Выборе Софи» — неуклюжая придуманная чушь, о немецких концлагерях, о сумасшедшем Натане...

Какая страна победила во Второй мировой — Америка или Советский Союз? Были ли городом-победителем послевоенный Нью-Йорк или послевоенная Москва?

Голодная после 1945-го года Россия наблюдателю с Запада казалась царством мрака и была таковым ещё в большей степени, чем залётные гости могли заподозрить. Им показывали Большой театр и не давали протрезветь, но ведь и Нью-Йорк, как свидетельствует Стайрон, отнюдь не был раем. Вернее, у этой картинки с небоскрёбами имелась изнанка. А главное, у Америки тех лет отсутствовала уверенность, что победила именно она (а у Москвы эта уверенность была).

...А ведь реально-то выиграли от Второй мировой американцы! Но бывает ли так, что у победителя кто-то ворует победу?

Нью-Йорк послевоенных лет был город особенный... В том самом 1946-м, когда Нэнси дебютировала на Бродвее, этот город впервые по-настоящему стал в мире главным. Он был столицей мира, но не знал этого.

И Нэнси Дэвис ничего не понимала ни в этом городе, ни в своей жизни. Она воспользовалась первой полу-удачей, а также рекомендацией Кларка Гейбла и из Нью-Йорка уехала в Голливуд.

Глава третья

Итак, автор этих строк бывал в Нью-Йорке — дважды; в Чикаго — многократно; вообще объездил изрядный кусок Штатов и даже преподавал в тамошних университетах... То есть Америка для меня — весьма понятный край, с полуслова и интонации. И я не мог не написать об Америке, но...

Вводить автора в повествование — не самоубийство ли это? Не признание ли того, что произведение провалилось, коль скоро ему нужна подпорка в виде «объяснения автора с читателем»?

Но объяснения не будет, да и Америки в этом романе будет не так много: всего лишь достаточно, чтобы уточнить некоторые особенности Рональда Рейгана, его жены Нэнси, всей этой каши — а точнее, вкусной похлёбки, похожей на русскую солянку, — которую заварили вместе рейгановская администрация и аппарат, возглавляемый так называемым «Мишей меченым»...

* * *

Сороковой президент США Рональд Уилсон Рейган... Их было два Рональда в одном теле: «плохой» и «хороший»; и если скажут, что так бывает у каждого, то мы не согласимся.

Отец Рональда — из ирландских католиков, мужчина пьющий. Мама — из протестантской семьи; не имея доверия к алкоголику-мужу, сама управляла в семье — с помощью истерик, упрямства, привязывания сыновей — младшего Ронни и старшего Нила — к спинке кровати (поочерёдно, не вместе), с табличками на груди: "I am a scoundrel!" («Я негодяй»), "I am a rascal!" («Я подлец»).

...За привязыванием Рона последовали пощёчины и крикливые внушения:

— Ты подлец! Попробуй только отвяжись! Будешь стоять так весь день, пока я на работе!

— ...в школе прогул запишут...

— Ты поговори ещё! — опеуха с размаха показалась Рональду ослепительной вспышкой. — Из школы вообще тебя заберу — нечего негодяям в нормальной школе...

Если хоть пикнешь — заберу из школы! Пикнешь?! — Ронни хотел сказать, что нет, но лишь помотал головой. — Вот так у меня! Стой молча целый день и осознавай вину!

И мама бурно унеслась на работу, а Ронни Рейган час за часом надеялся, что она придёт пораньше и отвяжет его; терпел как мог и всё-таки обмочился, а она пришла лишь к концу рабочего дня, отвязала, он повалился на пол — затёкшие ноги не держали...

Это было всего один раз, но запомнилось навсегда. Это было сделано именно в тот год, когда он резко прибавил в росте — начал вытягиваться в самого высокого в классе — в силача, и тут она его навсегда сломала... Какая там гордость: он года два потом ходил, сторбившись, жался за спины более низких ребят. Когда учителя вызывали на что-нибудь добровольцев и требовалось шагнуть грудью вперёд... он прятался! И не раз повторяли учителя (и мужчины, и женщины), да и сама уже мама: «Рональд, выпрямись! Что ты как горбатый? Не кривь позвоночник... Держись прямо, ты молодой мужчина!..»

«...Какой я мужчина? — хотелось ему сказать. — Я дрянь... обделавшийся наказанным грешник, мне не место в первых рядах...»

...За что, кстати, мама его тогда отлупила и привязала к кровати? А ни за что! Сколько он вспоминал, удивлялся, что на пустом месте! Даже не курил ещё и не пил, правда, мучил кошку, но не в этот день, а дня за три, и вот она подождала, сделала так, что ни отца, ни брата не будет дома, и в этот самый день — когда он остался один, беззащитный, — совершила свой акт агрессии!

Это была именно агрессия, рассчитанная и подготовленная, хотя в тот день ему показалось, что наказание он вполне заслужил, он столько грехов навспоминал за собой... Хотя нет, грехи вспоминались позже, а в тот день мозг был парализован, он просто, привязанный, мучился тем, что поскорее бы это кончилось, и как бы кто-нибудь не узнал, не увидел, и какой он грязный подлец, а мама — до чего права...

С братом они об этом тоже говорили всего раз, тот первый сказал, что «мамаша грозила опять привязать... уже третий раз будет...» — «Тебя два раза?» — удивился Рональд. «Ну. А тебя один?.. — брат хохотнул. — Значит, ты понятливее, а меня хоть бей... Хоть кожу сдирай... Всё равно я в папу, как она говорит...»

...Да, Нил, пожалуй, был «отцовским сыном», а вот он, Рон, «собственностью матери». «Самым дорогим её сокровищем», — как она не раз объявляла ему и всем окружающим, вгоняя его, опять-таки, в краску стыда... Пойми её: женщина! То избивает, вешает табличку на шею (но об этом — молчок! никому!), то называет своим драгоценным...

* * *

...Папа — алкаш и неудачник? Но Джек Рейган дожид до сыновнего взлёта в голливудские звёзды, до 1941 года — до женитьбы Рона и до рождения внучки. Отец умер почти в пятьдесят восемь лет, то есть прожил жизнь приличной длины, он пил, но всё-таки знал меру. Он, кстати, и в «Анонимных алкоголиках» лет пятнадцать продержался, правда, с перерывами на длительные запои.

«Мы жили в бедности и не знали этого», — говорил позже Рейган. Или так ещё: «Мы были нищими, но сами этого не понимали»...

Это была удивительная фраза, одна из тех, что приходят человеку раз в жизни. В ней имелось хорошо заметное, направленное на собеседника остриё. Дескать, а ты-то, числящий себя в среднем классе, понимаешь ли, что *ты беген*? Думаешь, твой пропотелый под мышками пиджак и старенький галстук кого-то обманывают?

* * *

...Два Рональда в одном чётко знали: их двое, и чем дальше, тем лучше научались распределять обязанности. Вот это, дружок, уж ты возьми на себя (грязное дело), а это (чистое и светлое) — будет моей задачей...

Но который решает? Который из них держит нить? Вот этого ни один Рейган, ни второй не понимали. Чистое, чёрт побери, грязное... А что в нашем мире чистое, а что грязное?

Как бы там ни было, оба Рейгана хорошо плавали и летом устроились на пляж спасателями в большом городе Мичиган-сити, на берегу одноимённого озера. И вот — следующая картинка.

...Жаркий сосновый лесок рядом с пляжем: почему-то Рональд, ещё только устраиваясь сюда, задержался на нём взглядом... Что-то мелькало там, за горячими от солнца соснами, внутри! Белое нижнее бельё? Да! А ещё чья-то голая, загорелая кожа...

Отдеревянного офиса «Администрации пляжа» тоже почему-то «разило развратом» (так ему показалось), как и от местного полицейского участка — коррупцией.

... — Хочешь быть спасателем пляжным, да, бой? — маслянисто блестя глазками, гоняя вправо-влево дымящуюся сигарету во рту, спросил начальник спасательной

станции. — Ну-ка, ну-ка... Дай посмотрю на тебя...

Втянув пузо, Джим вылез из-за стола, обошёл вокруг Рональда, глядя на него недвусмысленно. Тот картинно напряг мышцы...

— О-о... Да мы «в теме»? Всё понимаем, да?

— В теме, сэр! — усмехнулся — который? плохой или хороший Ронни? Одновременно он напрягся и ошетинился, начальник это понял, оставил шуточки...

Потом опять вернулся к ним, когда о работе условились:

— ...Somebody will squeeze the juice? (Кто-то будет «чпоки-чпоки»?)

Рональд не растерялся:

— I am looking for green juice, sir! (Я ищу зелёные «чмоки-чмоки»...)

...Тут память опять задёргивает занавесочку... Оба Ронни были высоки и стройны; и если «циничный» получил работу и смело ходил полуголый и загорелый под взглядами стареющих дамочек... То «хороший» мог не понять, что именно предлагает стареющий похотливый джентльмен...

Молчание, молчание! Ничего неподобающего не было...

* * *

Михаилу Сергеевичу Горбачёву Институт США и Канады подготовил справку о Рейгане, накануне их встречи в Женеве, в ноябре 1985-го. Горбачёв читал и ругался чуть ли не вслух, ставил знаки вопроса карандашом...

Авторы справки писали: *«Есть косвенные указания, что в старшие школьные годы и в колледже Рейган имел гомосексуальные симпатии и даже интимные связи такого типа, но прямых фактов нет...»*

Об этом справка хотя бы упоминала, умалчивала о другом: об озарении — схожем с ударом молнии, — которое осветило и перевернуло жизнь двадцатилетнего Рональда... В один самый будничнейший день он вдруг понял...

«Коммунисты! Вот кто вредит Америке! Вот кто гадит, кто растлевает нашу молодёжь — меня в том числе!..»

...Раздвоенность души Рональда усугублялась, конечно, тем, что папа его был католик, а мама — не просто протестантка, а активист своей церковной общины (общину эту обвиняли и в изуверстве, но ничего доказать ни разу не смогли...)

От разницы конфессий отца и матери авторы записки переходили к конкретике: *«мама заставила принять протестантство»*... (Кого заставила? Только одного Рональда или брата Нила тоже?) Михаил Сергеевич Горбачёв нервно подчеркнул фразу *«заставила принять»* и даже сломал грифель карандаша...

...Он читал и всё более свирепел: «Вот поработал Институт США и Канады! Ничего не понятно: «хрущи» там, что ли, засели?.. («Хрущами» Михаил Сергеевич с незапамятных времён называл халтурщиков и вредителей...)

Написано было так, что всё можно было понимать в одну сторону, а можно и в другую! (Хотя человек — машинка сложная, на раз-два не объяснишь...)

Например, переход Рейгана в Голливуд, в 26 лет, на студию Уорнера, авторы записки подавали как повышение, но ведь до того Рейган четыре года проработал на радио. В основном спортивным комментатором, но делал и культурные, и даже политические обзоры. По сравнению с этим играть в массовке молодого ковбоя — не такое уж и продвижение?

Учился Рейган в христианском протестантском колледже и получил специальность «экономика» и «социология». Потом с 22 лет (с 1933 года) работал на радио, затем (с 1937 года) в Голливуде... Это Горбачёв подчеркнул и написал внизу страницы:

«Он профессиональный экономист и социолог, как актёр — любитель, гилетант».

...Горбачёв читал, и ему казалось, что авторы справки слишком нажимают на зависимость Рейгана от женщин:

«На киностудию помогла устроиться дама старше него, певица Джой Ходжес». Ну и что, что старше? Каков был тип отношений, вот вопрос. Превратить мужчину в полное чмо может девушка моложе его, может собственная мама, а старшая женщина, чаще всего, вдохновляет... Как Мухаммеда его Хатидже — на роль всемирного пророка, не меньше.

Горбачёв продолжал читать...

«В Голливуде Рональда взял под свою опеку Джек Уорнер, совладелец киностудии; кроме того, ему покровительствовал агент Луис (Лев) Вассерман («Чей агент?» — написал Михаил Сергеевич на полях), а также опытная журналистка Луэлла Парсон (она же будет опекать и Нэнси, когда та через десять лет появится в Голливуде)». (Удивительно грязно работают мозги этих людей, — думал Горбачёв о составителях справки. — Хотя своё дело, в общем-то, знают... Яковлев с ними разберётся: Алек-

сандра Николаевича, сразу вернув его из Канады, Михаил поставил руководить этим институтом, но предупредил, что ждут Александра Яковлева и более важные дела...) «Луэлла Парсон познакомила Рональда с юной опытной («как это?» — написал Горбачёв) актрисой Джейн Уайман, которая и стала первой женой Рональда»...

Минимум на шесть лет моложе Рональда (1917 года рождения, если не позднее: прибавляла себе возраст), она уже была дважды замужем; обвенчалась с Рональдом в январе 1940 года, а в январе 1941 года родила дочь Морин... Подала на развод уже в 1948 году, что стало для Рейгана шоком... Но вскоре он знакомится с Нэнси, и в 1952 году они заключают брак...

Горбачёв отвлёкся от чтения и подумал, что хорошо бы посмотреть, как выглядит эта самая Джейн, первая жена Рейгана. Вторую-то он видел, по телевидению, в кинохронике...

Надо будет сказать помощнику, чтобы нашёл фотографии Джейн Уайман... Впрочем, так ли это важно? Институт США и Канады подобрал Михаилу Сергеевичу аж три фильма с Рейганом, в одном из них, сказали, Рональд играет главную мужскую роль, а главную женскую — Нэнси. Но смотреть Михаилу Сергеевичу точно было некогда, хотя...

* * *

Горбачёв распорядился, чтобы фильм приготовили для показа, позвонил Раисе Максимовне: «Посмотрим вместе?...» Но возникли срочные дела и пришлось снова звонить жене и отменять. Она, впрочем, сообщила, что и ей смотреть фильм было некогда.

...О фильме Горбачёв не забыл, и они с Раисой посмотрели-таки его, уже в 1988 году, незадолго до приезда четы Рейганов в Москву. Фильм назывался "Hellcats of the Navy" («Адские кошки флота»), вышел он на экраны в 1957 году и был простенькой историей о морских боях с японцами во время Второй мировой. Рейган играл капитана подводной лодки и был практически неотличим от себя нынешнего. А вот Нэнси (ждущая его на берегу невеста — медсестра) с тех пор сменила причёску, что сильно поменяло и всю её внешность...

...Но кое-что Михаила весьма заинтересовало в Рейгане: он заметил его раздвоенность! И в фильме, и — если уж на то пошло — в политике!

— ...Ты заметила: как будто не один человек, а два разных? — спросил он Раису.

— Да, Миша, я об этом ещё в Женеве тебе говорила...

* * *

Свою двойственность сами Рональды понимали по-разному...

Иногда им казалось: один из них плохой, другой хороший. А иногда виделось и так: есть в этом теле «мужчина», а есть «женщина» — и никогда им не объединиться в одно существо...

Пришлось организовать некое «раздельное обучение». Один из них учился быть мужчиной (это на людях), другой — быть женщиной (это втайне)...

Становиться женщиной было задачей, пожалуй, более трудной...

Тут у Рональдов появился наставник. В том же самом Мичиган-сити состоялось знакомство с мужчиной лет за сорок, который предложил пожить в отдельном домике (вместо койки в христианском общежитии, где обитали Рональды).

Домик был не бедный, и мужчина (он назвался Джейсоном и сообщил о себе, что работает директором лицей) предупредил, что это жильё его друга и здесь желательно ничего не переставлять и не перекладывать...

...Но память Рейгана опять задёргивала занавес: молчание! Молчание: ничего такого не было...

Он хорошо помнил одно: он тогда запутался. Лет в девятнадцать-двадцать дошёл до того, что начал думать о самоубийстве...

И вот тут-то и пришла спасительная догадка: ударила грозovým разрядом и всё осветила...

Коммунисты!

Вот кто всю эту извращённость внедрил и поддерживает!..

Они организуют забастовки, подрывают доверие к церкви... Отца заставили стать алкоголиком, маму — фактически садисткой, главой семьи, это и привело к раздвоению личности его, Рональда... А сколько ещё таких искалеченных семей? Их большинство! И всё безудержнее силу набирают красные; они убивают королей и раздувают революции; они СССР — Россию превратили в пьяное царство, и оттуда ползёт зараза на весь мир...

(Мы, конечно, и сами бутылку любим, — охлаждал себя Рональд. — Но без их ста-

чечной подрывной работы не было бы такого трагизма...)

Ненависть к коммунистам в 1933-м году помогла ему взять себя в руки и временно преодолеть все и всяческие грехи. В этом году он устроился работать на радио, это стало следующей его долговременной работой после пляжного спасателя.

Ему было двадцать два, и Рейган понял: эта работа — для него! Радио — это то, для чего он создан Богом!

Мужественным баритоном звучал он в эфире, хотя иногда ужасные воспоминания, как летучие мыши, врываются в студию... (Но в первый год работы на радио это бывало совсем редко, потом участилось...)

Ненависть к коммунистам то затухала в Рональде — и годы о ней не вспоминал, — то вновь разгоралась... Раздвоение его особенно усилилось осенью 1985-го, когда назначена была первая встреча с Горбачёвым в Женеве.

* * *

Официальных саммитов Рейган — Горбачёв было пять: Женева-85, Рейкьявик-86, Вашингтон-87, Москва-88 и Вашингтон-88. Последняя встреча (под занавес 1988 года) была уже встречей трёх президентов: Рейгана, Горбачёва и только что избранного Джорджа Буша-старшего.

Затем были переговоры Горбачёва с Бушем: Мальта — Лондон — Москва — Испания... Встречи в Лондоне и в Москве в 1990-м произошли с небольшим промежутком, но первая была общим сбором западных лидеров и Горбачёва (7 + 1), а вторая — только советско-американскими переговорами. Испания же в конце 1991-го увидела уже Горбачёва, лишённого власти. В России правил Ельцин, и западные лидеры (в их числе Буш) советовались с Михаилом: как к этому относиться?

Глава четвертая

... Долгими автобусами ездил начинающий писатель Мармеладов в Ленинградский порт, устраиваться на новую работу. Проспект Маклина — Аларчин мост — Канонерская улица — Екатерингофский канал... Старая застройка предпортовых районов. В ноябре вода Екатерингофки загадочно чернела: тогда он сюда наведался узнать, потом ещё раз — в декабре, отвозил документы, — и уже всё было под толстым и жёлтым льдом, кое-где лопнувшим. Межевой канал — Двинская улица — отдел кадров пароходства и порта.

...Поодаль от финального поворота был виден пивной ларёк с белым снегом на его крыше, с чёрной очередью к нему, с уже получившими пиво, неторопливо пьющими.

...Вся жизнь столь же гнилая и промозглая и заносится снегом, неуклюже морщиниста, как чёрные стволы этих старых тополей, и одно, одно только грело: Горбачёв!

К нему прилеплялся Мармеладов душой, в этих долгих поездках, в переполненных автобусах... Это была новая его работа, а в то же время старая. На Двинской он отучился на курсах, готовился в рейс. Но визу не открыли, и заграничное «накрылось», в итоге не просто понижение, а — казалось — полный крах. От без пяти минут морского офицера — переводчика пассажирских судов — в тёмно-синей форме с золотыми полосками в виде ромбов, — в неизвестно кого, в бича... В одного из тех, кто завистливо смотрит на моряков, погулявших по заморским портам и привёзших с собой то «боны», то доллары, в общем, можешь и в Ленинграде покупать иностранные джинсы и всё остальное.

...Итак, из загранки ушёл, из аспирантуры ушёл, — самое время становиться мастером слова! Миша Мармеладов решил стать писателем.

...Но и тут караулил подвох, ибо в писательство вели две разные дороги, — хотя обе отнюдь не чужды были жизненной правде.

Один путь: вот об этой бедности и грязи, и о проступающей сквозь снег гнилой черноте, о какой-нибудь «конторке совхоза», где ты оказался в зимние сумерки, и вот какое чудо встретил потом в деревне... И другая тема, другой поворот: та же грязь и заслеженный кафельный пол кафе, и такой-то вот разговор на коммунальной кухне, такие-то вот развилки и тупики.

Казалось бы, одно и то же? Но редакторский глаз различит, а рука отодвинет: нет, этот не наш! Или наоборот: наш, будем печатать!

И почему бы Мармеладову не выбрать твёрдо, в какой он, чёрт побери, партии, в «нашей» или «не нашей»? Что его заставляло угождать и этим, и тем или — говоря более высоко — любить тех и других одинаково?

...Горбачёв как раз и казался тем, кто примирит несоединимое, укажет путь, вытащит расколотую Россию, да и весь расколотый мир из этой пропасти мрака...

Михаил Сергеевич! Такой весь номенклатурный, и в то же время видно: способный и пошутить над номенклатурой...

Мармеладов устроился в порт, на эту свою сменную береговую работу, в самом конце восьмидесят шестого. То есть к тому времени состоялись уже две встречи «Горбачёв — Рейган», первая в Женеве в конце 85-го и вторая в Рейкьявике в конце 86-го. Иными словами, кое-что уже можно было понять... Вернее, всё так запуталось, что ничего понять уже стало нельзя!

Рейган что — дерзит, оскорбляет? К нему вроде бы — всей душой, всем обаянием, а он... Продолжает военизировать космос, не оставляет «Звёздных войн»... Было впечатление, что Горбачёв получает тяжёлые плюхи, но терпит, страдает... Не так ли и Ленин когда-то? Ведь изначально большевики были за мир, вот и получили унижительный «Брестский мир». Сами напросились!

Мармеладов на английском почитывал журналы "Time", "Newsweek" — они были доступны в Публичке. И подумывал написать о Рейгане... Чем чёрт не шутит: биографию, понимаешь! Или даже двойную: об американской президентской чете!

Утопия, конечно: никто не напечатает! Но почему бы не пометать?

* * *

На новой работе — не сразу — но он обжился.

Работа в порту, на которую устроился Мармеладов, называлась «переводчик коносаментного отдела», и располагался отдел в Третьем районе порта, туда от метро «Автово» трамвай шёл прямо до проходной, где и делал кольцо.

...Вековой тоской веяло от сугробов, от ограждающих заводские территории бетонных заборов, от полузанесённых гаражей, от появляющихся вдоль трамвайного маршрута портовых кранов: их ажурная сталь, словно прозрачной плесенью, была затянута налётом изморози...

Бетонный заборище; павильончик проходной с турникетом внутри и вестибюлем, в котором Мармеладов ждал начальника отдела Толика Долинина. Созванивались, но в глаза не виделись.

Долинин оказался приземистым блондином, чем-то напоявшим Мармеладову себя самого. Таким вот он будет лет через десять... Разве что Мармеладов чуть выше ростом и не такой светловолосый, как Долинин, потемнее. Лицо Долинина зло раскраснелось...

— Сейчас, конечно, разовый пропуск... У нас корочки, «чайка над волной»...

Чем был раздражён Долинин? Возможно, тем, что ему пришлось возвращаться к проходной и шагать почти километр туда и теперь столько же обратно, а может быть, дело было в том, как именно договаривался с ним Мармеладов, откуда узнал, что уходит в декрет сотрудница и освобождается ставка, пока временная... В общем, на работу его Толик Долинин не мог не *принять*, но ведь мог и не принять! («Такова диалектика», сказали бы марксисты.)

...Шли по территории вдоль полузанесённых снегом рельсов и товарных вагонов — всё больше было кранов вокруг — перебрасывались вежливыми репликами, — и только входя в трёхэтажный серый кирпичный корпус, Долинин резко сказал о главном:

— Рабочее время у нас, как вы понимаете, с девяти утра до девяти вечера... Но после шести все уходят — однако я об этом — начальство — ничего не знаю.

...Вот так-так... (А как это?! «Я знаю, но я не знаю»...)

Это следовало понимать: на работу Мармеладова — берут!

* * *

Что представляет собой *коносамент*?

Морская грузовая накладная — всего лишь. Документ, показывающий, от кого идёт груз, к кому и на каких условиях.

Правда, в отличие от накладной сухопутной, коносамент довольно подробен и может перепродаваться, то есть, переходя из рук в руки в далёком порту, знаменовать смену собственника груза.

Предназначенная заморским получателям, бумага и выписывается на их языке — обычно английском или испанском. Отсюда ясно, что хотя бы некоторые работники коносаментной должны языки знать, хотя на практике это не обязательно. На машинках коносаменты печатались — слово в слово — по «поручениям на погрузку», а те, в свою очередь, Транспортно-экспедиторская контора порта переносила один к одному из бумаг отправителя или получателя, из договоров и спецификаций. Фразу на испанском — «четыре ящика болтов крепёжных, разных модификаций» (или ещё что-то подобное) — вставляли, не вдумываясь, в коносамент, из него в манифест — грузовой или таможенный: это ещё бумаги (манифесты), которые готовили здесь же.

Отдел занимал несколько комнат и представлял собой смесь машинописного

и множительного бюро и почтового отделения, где копии грузовых документов раскладывали по конвертам. Это в авиапочту, это в судовую... Копию капитану и грузовому помощнику, оригиналы получателю, копии в таможену на выпуск, на выпуск, копию вернуть отправителю, ещё одну оставить для архива... Копий делалось примерно по двадцать штук каждого коносамента, но пикантность оказалась в том, что размножали эти копии на спиртовых ротапринтах! И спирта тратилось прилично: привозили и ставили в сейфы некоторое количество пяти- и десятилитровых пластиковых канистр. Разумеется, этот спирт использовали и вовнутрь... Принимая и сдавая смену, старший обязательно записывал уровень спирта в каждом из множительных аппаратов — английских «Ормигов». Об этом Мармеладов узнал чуть ли не в первый день работы.

В каждой профессии есть свои закоулки и косяки... Так актёр кино должен не только правдоподобно сыграть роль, но и сработать на камеру, о которой всё время помнит. И смотрит то прямо в объектив, то мимо него, как говорит ему режиссёр.

Вот и здесь... Он искал просто сменной работы со средненькой оплатой, а оказалось, за доступ ко спирту некоторые готовы были чуть ли не убить «конкурента».

* * *

Коносаменты и манифесты выписывались на машинках постоянно, как только судно определялось под погрузку.

Смена за сменой — в идеале, круглосуточно — сидели за машинкой и печатали документ за документом — на каждую единицу груза. Отправитель — получатель — название и вес груза — условия доставки. Стрёкот машинок (опять-таки, в идеале) не должен был никогда затихать: он отражал лязг вагонов, гудение кранов, крики докеров — работу, которая тоже тянулась в порту круглосуточно.

Накопив достаточное количество напечатанных коносаментов, шли их размножать; свежие, пахнущие спиртом стопки бумаг занимали часть стола, потом весь стол, потом соседний; росли вверх, достигая полуметровой высоты...

Это была такая же тяжёлая и нудная, тупая пахота, как любая другая. Например, пила дров ручной пилой вдвоём или их колка — это уже одинокое занятие, как и вскапывание грядок, пахота поля с помощью плуга: борозда за бороздой... Плугом, конечно, никогда не пахал Мармеладов, этот вид труда давно ушёл в прошлое, но в целом он знал, конечно, что такое деревенская работа. Таким же был и здешний труд, в коносаментной, да и где он бывает другим? Внимание и упорство и чувство, что ты разогнался и разогрелся, хотя выгалкиваемый вес работы обязательно сделается непосильным, и потребуются перерыв на отдых...

Но подготовка коносаментов приостанавливается в миг, когда судно готово к отходу, когда погрузка закончена и принесли последние штурманки, и требуется срочно подбить итоги: посчитать количество погруженных единиц, например, контейнеров (по бумагам коносаментной) и сверить их с количеством на судне (полученный груз) или на складах (отгруженное). И не дай Бог не сойдётся: тогда нужно будет срочно искать ошибку, а судно стоит, отход задерживается, срывается график, и на кого будет повешена эта вина — вопрос...

...Всё это скороговоркой Наташа Зенина — звенящим от истерики голосом — повторила Мармеладову, когда их в ночную смену как раз застигла отправка большого «кубинца» — то есть судна, идущего на Кубу, — с сотнями контейнеров. А диспетчер Сизов позвонил, что его не будет или он будет очень поздно...

... — Так, Миша, ты садись сюда, а я сегодня на диспетчерском месте... — Наташа Зенина, в красных нервных пятнах, взяла вожжи власти. Молодая женщина, что называется, «в самом соку»: разведённая, сын заканчивает школу; по габаритам «спортивная кубышка», блондинка с красным лицом; ей намёкнуто от начальства опекать Мармеладова и вводить его в работу, что она и делала...

Как таковых личных рабочих мест у них тут не было (кроме кабинета начальника); каждый садился за ту из пяти или шести пишущих машинок, которая ему больше нравилась. Единственное место диспетчера — старшего смены — было строго определено: спиной к начальственному кабинету; на этом столе тоже имелась пишущая машинка, на боковом столике три телефонных аппарата — городской и местной связи. Сюда теперь села Наташа Зенина, а Мармеладова усадила за стол лицом к себе — обычно это было её место, второго человека.

...Конечно, Мармеладов уже представлял себе, что «отправка» — это аврал, особенно ночная. Долинин предупреждал: при отправке смена работает единой командой и никто не чинится: переводчика диспетчер имеет право поставить на размножение или на отборку судовой; если совсем завал, можно вызывать из дома смену отдыхающую. У них уже была ночная отправка, Миша пытался хохмить, Сизов раздражённо цыкнул на него:

— Отправка! Не понимаешь, что ли? — и поставил Мармеладова крутить коносаменты, в множительную, чтобы не мешался под ногами.

А теперь опять на них попала отправка контейнерова, но Сизов отсутствовал...

* * *

...В той же комнате Ирина, оператор, стучала на машинке так же громко и нервно, как по-особенному пронзительно трезвонил в этот вечер телефон: всё в эту смену почему-то сошлось: сразу два судна заканчивали погрузку... Наташа, заставляя себя не спешить, снимала трубку, вежливым голосом, на грани истерики:

— Алло, коносаментная... Подписывать? Да, приходите. Сколько у нас готово?.. — она невидящим взглядом искала стопки размноженного. — Я не знаю, готово много, но не всё... Приходите, сами увидите... Что?! Я не слышу, алло! — бросала трубку...

Ирина колотила по клавишам оглушительно.

— Миша, вот тебе задание. Быстро проверь номера контейнеров. Но сначала вот эту пачку всю проверь. Быстро, за пять минут! И всё — на размножение, чтобы дать им успеть подписать...

И опять зазвонил телефон:

— Алло! Я не слышу?! — истерический темп поднимался ещё на ступеньку.

...Мармеладов тыкал в клавиши калькулятора: почему-то сложным стало простейшее действие... Всё это было знакомо по школьным контрольным на уроках математики. Контрольная для школьника неожиданна, как удар палкой по голове: вчитываешься в задание и понимаешь... что ни хрена не понимаешь!

Однако надо что-то делать! Так называемый адреналин подобен гулу или визгу в ушах, сопровождается неприятным ощущением в области живота; невесомыми и бессильными становятся бицепсы и другие мышцы тела, что означает одновременно и высшую готовность соперничать, драться, куда-то бежать, что-то вспоминать и на ходу придумывать...

С пачкой проверенных коносаментов Михаил сам побежал в множительную, но его перехватила вторая оператор:

— Давай я размножу. Ты иди, там Наташка зовёт ей помочь...

...После полуночи выяснилось, что с документами успевают; если задержка и будет, то не по их вине.

Появился Сизов, трезвый (что необычно) и злой:

... — Чего вы тут бегаєте? Я узнавал: отправки не будет сегодня.

— Не будет? Ты уверен?

— Перетянут на дневную смену, мне точно сказали. Но мы тут подготовим, по максимуму... Пойдёмте чайку попьем...

...Постепенно — не сразу, через годик примерно — Мармеладов начнёт осознавать: больше половины грузов из Ленмортторгпорта идёт на Кубу, везут всё: от игло-лок с нитками и детских игрушек до автобусов, машин представительского класса и даже вертолётов. Груз в одном сборном контейнере порой оформлялся десятками коносаментов, судовую почту курьер еле отрывал от пола. Бывало наоборот: целое судно — один коносамент («угольщики», например). Столько-то сотен тонн угля в такой-то порт, и точка. То же самое — с машинами «ВАЗ» в Панаму и Венесуэлу. В одном коносаменте — восемьсот машин, но к нему листы приложения: тысячи номеров: шасси — двигатель — цвет...

* * *

Сменная работа нужна была Мармеладову, чтобы писать прозу, хотя бы четырежды в неделю иметь свежую голову с утра. А с прозой как-то ничего не вытанцовывалось...

Подрастала дочь: она родилась летом 85-го, как раз в первый «Горбачёвский» год.

...Мармеладов засыпал, он был дома, это был один из выходных между сменами в порту. И вдруг что-то — вот ещё раз — его будило!

Он вполозал воображением, «подслушивал»... разговор Горбачёва и Рейгана, не менее того!

Жена и дочь, кажется, спали...

Перед тем как выключить свет, Мармеладов прочёл в «Литературке» размышления политического обозревателя:

«...Новый, 1987 год страна начала с активного примирения в Афганистане. Американы (это что, их ответ?) отправили госсекретаря Шульца в вояж по Африке.

...Послание Михаила Сергеевича Горбачёва Генеральному секретарю ООН, в котором наш лидер сделал обзор всех инициатив СССР за 1986 год. Получилась грандиозная картина, ещё яснее высветившая новизну нашей политики. Теперь мы не замыкаемся на борьбе с империализмом, признаём, что есть задачи и другого ряда. Общие враги человечества: милитаризм, экологическая катастрофа, недоразвитие. Наша политика получила мировое измерение, отразила общечеловеческий взгляд. Мы научились быть

выше различия в общественно-политических системах...»

Вот как уже можно писать в газетах! Но спрашивается: а в чём же ответ американцев на эти мирные инициативы? И будет ли ответ?

...На этой мысли Мармеладов опять попытался заснуть... И вновь, как от толчка, пробудился: словно буквы прокручивались, распечатка или запись беседы.

* * *

ГОРБАЧЁВ. ...Так что, господин Рейган, будет ли ваш ответ?

РЕЙГАН. ...

ГОРБАЧЁВ. ...Если мы новую инициативу: сократить только средние ракеты?

РЕЙГАН. Эт-то уже... *(Всплеск радости со стороны Рейгана?)* Нет, я не могу реагировать.

ГОРБАЧЁВ. Вы не даёте ответа?

(Молчание.)

«Что ж... Нас унижают отсутствием ответа... Но мы привыкли быть униженными, русский мужик привык пахать... Но он упрям! Даже полная безнадёжность нам привычна...»

* * *

Мармеладов встал и вышел в кухню, покурить. Неужели он читает мысли Горбачёва... и Рейгана?

Есть ли между ними телепатическая связь?

А как ей не быть?! Два лидера играют затяжную шахматную партию, нелепо считать, что каждый из них не думает о другом! Просчитывают, задают вопросы и слышат ответы. Как ни странно, самый ясный ответ даёт человек во сне: он не способен к увёрткам, и чуткий мозг бодрствующего уловит то, что ответит спящий: «Вот так?» — «Да, так, — только отвяжись!»

Американцы в глубокий сон погружены с десяти утра до четырнадцати по Москве, в Америке это, соответственно, с двух часов ночи до шести утра...

Мармеладов вернулся из кухни, постоял возле дочкиной кровати: спит. И самому надо заснуть.

...Но странное видение *пахоты* не оставляло... Перелопаченная земля и тяжёлые комья, с блестящими срезами от лопаты, а скорее, лемеха. Русский мужик привык униженно пахать, даже если он стал генсеком. И он видит тебя насквозь, бывший актёр Рейган...

...Ты сидишь, в молодые ещё годы, на холодной деревянной скамье в пустом храме в Калифорнии...

Приоткрыв от удивления рот, смотришь вперёд, на крест над далёким алтарём. Здесь бывал сенатор Маккарти, католик. И твой старенький отец — сильно пьющий Джек Рейган — тоже католик... Католицизм, его тайна... Эти калеки, эти увечные, ждущие чуда исцеления, а потом... Поступление его, Рональда, на работу в Голливуд и начало совсем другой жизни... Эти пьянки актёров, актрис...

ГОРБАЧЁВ. Наше общество держится на том, что царство добра воплощено на Земле. Этого нет нигде кроме нас...

РЕЙГАН. Aren't you going overboard? At least make your lies believable... (Не слишком ли? Ври, да не завирайся...)

ГОРБАЧЁВ. Ничего не понял! Ну ладно, замнём... И всё-таки, как с нашим предложением по сокращению ракет? Мы не слезем с вас, мы будем требовать...

РЕЙГАН. Вы получите ответ в надлежащее время.

ГОРБАЧЁВ. Мы весь мир... Весь мир взбулгачим...

...Мармеладову показалось, что Горбачёв засыпает, слова его стали неразборчивы... Но вот что-то утвердительно булькнуло, по-русски? По-деревенски...

ГОРБАЧЁВ. Нíнио. Нíнио.

РЕЙГАН. Niño?¹

ГОРБАЧЁВ. Давай спать. Всё. Я устал.

После этого, показалось Мармеладову, наступило молчание.

Глава пятая

Мармеладов посещал литобъединение Льва Ройзмана, которое занималось в одном из помещений театра на улице Рубинштейна.

...Лев Исаакович был мужчиной довольно мощного когда-то сложения, с густыми бровями и решительным носом, — разумеется, с волосатыми ноздрями, хотя и

¹ Nico (*исп.*) — ребёнок.

не соответствующими той степени вульгарности, которую вкладывают во фразу: «с торчащими из ноздрей волосами».

Но что делать, если в ноздрах, действительно, растут волосы, как и на некоторых других частях тела?

Ройзман, конечно, был не внешностью знаменит, а, скажем так, спокойно-державным направлением, по которому он толкал своих учеников. «Еврей?.. Да! Но вы вдумайтесь в то, что он пишет! — такое Мармеладов слышал от одной престарелой литераторши. — Это же... Он же... — она говорила с придыханием, почему и запомнилась. — Если есть у нас последователи петербургской... государственной линии, то вот он! Лев Исаакович — наследник традиции...»

Она имела в виду повесть Ройзмана «Наследство», в которой тот изобразил приехавшего в Ленинград внука и его двоюродную бабушку, нынче живущую в коммуналке с окнами на Исаакиевскую площадь, — а происходила бабуля из дворянского рода, когда-то владевшего всем этим домом. Повествование показалось Мармеладову холодным и вялым, написанным по обязанности, хотя смысл повести был ясен. Выросший в Рязани внучек не без внутреннего сопротивления «принимает наследство», в том числе и материальное: считанные оставшиеся картины, немногие — пожелтевшие и растрёпанные — дореволюционные книги... А главное, он принимает саму идею: он — наследник тех, кто строил громадную царскую державу и вершил её политикой.

«*Надо было жить и продолжать дело предков*», — эта фраза из повести Ройзмана почти дословно повторяла финал Фадеевского «Разгрома»: «*Нужно было жить и исполнять свои обязанности*»...

Ну что ж... Фадеев в «Разгрома» показал большевистский отряд, руководимый Левинсоном, а Мармеладов попал в литературный кружок, возглавляемый современным Левинсоном — Ройзманом.

Конечно, у Ройзмана были свои трагедии и ошибки... И повесть «Наследство» далась ему нелегко. Но пока Мармеладов в жизнь «мэтра» не особо вдумывался: хватало борьбы с другими членами ЛИТО...

...Впрочем, и на эту борьбу старался не обращать внимания: понятия не имел, как и о чём писать — вот что его мучило! А борьба... Ну да, объединение Ройзмана выпускало ежегодный сборник рассказов, рекомендовало в печать «первую книгу автора» (одну в год), за это надо было потолкаться локтями... Но что писать-то?! — вот (опять и опять) была проблема.

* * *

Среди начинающих довольно громко звучала «кочегарская литература» — так называемый «андерграунд». Неустроенность — жизнь впроголодь — работа в котельной — пересчитывание копеек...

Немного это коробило... А были тут — в семинаре Ройзмана — два «убеждённых кочегара». Один, кажется, и уголь не вполне смывал — или уже так въелся? Евгений Алябьевский — так звали мастера угольной топки; у него как раз первая книга шла в печать. Чувствовалось: приблизился его час! Пока ещё не совсем, ещё держались какие-то немыслимые советские требования: «и о труде, и красиво»; и на работу не опоздай, и вкалывай ударно, да ещё и потом — не напейся! (Как если бы священник призывал «и не грешить, и на каждую службу приходиться каяться»...)

Ройзман (как и Мармеладов) «кочегаров», похоже, недолюбливал, но...

— Так приказывает время! — разводил дряблыми, довольно крупными руками.

Алябьевский был не одинок: многие писали на похожие мрачные темы: о червях, о гробах, о покойниках...

Второго «кочегара» звали Тимур Назимбаев, но он, в отличие от Алябьевского, душ принимал регулярно и приходил не просто в костюме, но и с платочком под цвет галстука в нагрудном кармане. Даже и парфюмом от него доносило, и никогда бы Мармеладов не заподозрил его в кочегарстве, если бы Алябьевский не подчёркивал: «Я и Тимур — нас двое!» «Мы, кочегары...»

Женщины в ЛИТО Ройзмана играли, конечно, роль; брюнетки в основном. Но брюнеткой была собственная жена Мармеладова Ольга, потому он сразу «запал» на единственную здесь блондинку Марину Нечаеву. Она, правда, тоже не отставала от тренда на черноту и прочитала свой рассказ «Сторожиha».

...Героиня, понятное дело, работала сторожихой — и это, оказывается, не было для неё «дном»: начинала она дворничихой.

...Приехала девчонка в Ленинград, и вот метёт улицу, и костяшки пальцев — красные от ноябрьского холода...

Марина читала это, именно покраснев — вернее, порозовев, преобразившись и с вызовом блестя глазами.

В конце рассказа героиня, уже «возвысившаяся» в сторожа, всё-таки назло кому-то или чему-то представляется «дворничихой». *«Но внутри-то ты — не с метлой!»* — раздражает её ухажёр, и эта фраза героиню обезоружила... Но лишь на миг: в финале она вновь ожесточается и клянётся «не прощать». Не сказано, кому или чему, но понять можно было и так, что — советской власти.

После чтения установилось ошеломлённое молчание — тяжёлое, но и торжественное. Вот как можно, оказывается! «Вы там всё ещё — лозунги партии, а мы вам — фигу под нос...»

Первым выступил Евгений Алябьевский:

— В нашем полку — кочегаров, сторожей, дворников — прибыло!

...Поморщились — не только Ройзман, но сама героиня вечера, читавшая рассказ Марина Нечаева...

Многие рассказ одобрили — Мармеладов отмолчался... Ройзман вынес решение:

— Реализм хорошо, но смотрите: Ленинград и ноябрь... Всё-таки отмечалась в ноябре красная дата, годовщина Революции, 7-е ноября, а у вашей героини — пальцы только красные... В общем, включаем «Сторожику» в сборник! — объявил он. — А теперь вот о чём, товарищи. Сегодня у нас присутствует молодой писатель Лундквист, Пётр Андрееч... Где он? Покажитесь!

Встал некий загадочный до этого персонаж, похожий на Николая Второго: невысокий, с округлой бородкой и с волосами коком надо лбом. Впрочем, уже и лысеющий, и возраста не очень молоденького.

— Пётр Андрееч — журналист-международник, — продолжал Ройзман, — и он предложил обсудить его книгу «Куда шло золото партии». Мы, конечно, занимаемся не публицистикой, а прозой, но, по-моему, качество художественности у этой книги есть. Однако я не хочу предрешать: как раз это мы и обсудим!

Новоприбывший достал пачечку оттисков и раздал. Фрагмент книги, стало быть, уже напечатали, этим не все могли похвастаться. В основном обсуждали машинопись, на некоторых рукописях красовались входящие номера, это значило, что зарегистрировали в журнале, а потом вернули с отказом. Тоже своего рода знак отличия: ты куда-то что-то пристраивал.

А по большей части навевало читаемое здесь безнадёгу, связавшуюся для Мармеладова с чёрными столешницами в зальчике. Столы эти, издавна используемые для учёбы и для заседаний, были, наверное, изрезаны и исписаны, потому и покрашены чёрным. Неясно было другое: зал, где обычно собиралась студия Ройзмана, называлась «чёрным» или «дубовым», за чёрный цвет резьбы, украшающей стены, но как понять: это и есть цвет морёного дуба или тоже краска, скрывающая советские надругательства?

Похоже было на краску: когдатошняя резьба была просто покрашена чёрным.

(После 1917 года как минимум дважды город впадал в варварство выбитых зимой стёкол и неработающего электричества. В первые годы большевиков и потом в блокаду. Имелись и на Дворцовой набережной особняки, восстановленные снаружи, а внутри с облезлыми стенами и потолками, стучащие под ногой паркетом, как кастаньетами: и хорошо, если паркет вообще остался, не был сожжён в печах.)

Здесь, в здании театра, хотя бы не скрипели и не постукивали звонко паркетные полы: уже отличие. А чёрный орнамент — крашенный или нет — всё-таки был праздником, как и цветные витражи, опять-таки — кое-где подвыбитые, не целиком сохранённые.

...Задувала метель на улице, гуляли сквозняки и заставляли на некоторых заседаниях сидеть в накинутах пальто. Слушали какой-нибудь очередной «кочегарский» рассказ, и Мармеладов отключался и вспоминал о Горбачёве и о перестройке... Она пока не очень-то дошла до Ленинграда — но ведь дойдёт?

И все эти переговоры Горбачёва с Рейганом — тоже ведь приведут к чему-то?

...Однажды, думая о Горбачёве, Мармеладов поймал на себе взгляд Ройзмана — показалось, что тот читает его мысли... Да и Бога ради: скрывать особо нечего. Но сам Мармеладов (после того случая, когда ему показалось, что слышит разговор Горби и Рейгана) больше откровений таких не переживал. Оно и понятно: хорошенького понемногу. Тебе показалось, уловил самый живчик мировой политики, — но мало ли кто что «улавливает»; ты-то вот сам — во что оцениваешься как писатель? Ничего ведь толком не закончил кроме фантастического рассказика (глуповатенького, хотя это замечалось не сразу) о прибытии некоего звездолёта в сибирскую деревню. Даже читку ему Ройзман пока не назначал, хотя сказал, что рассказик выйдет в сборнике...

...Там, наверху, делается политика, а мы, в этом скудно освещённом зальчике, с этими холодными чёрными столешницами, разбираем невнятную прозу друг друга и даём дичайшие советы, которые — если бы им следовали — завели бы и вовсе в безвыходный тупик.

Глава шестая

Жена Мармеладова Ольга не сомневалась: её муж — писатель небездарный, просто он не может найти свою тему.

Она, Ольга, подскажет мужу, и он напишет!

Только вот что подсказать? Она сама не могла выбрать и вдохновиться.

Помог её двоюродный брат Павел Артюхов: он был её старше и работал в ИМЭМО в Москве, под руководством академика Иноземцева, и вот Ольга уговорила его на день остановиться у них в Питере — проездом из Москвы в Казахстан, где ещё жили его старенькие родители.

Дел у Павла в Ленинграде не было никаких, и он совершенно откровенно *снисходил* и до своей двоюродной сестры, и до её мужа. Все трое крепко выпили, и Павел, глядя на Мармеладова свысока (был он длинный и костлявый), заявил напрямик:

— В нашей среде в социализм никто не верит. Это главное, что я могу тебе сказать. При этом, — Павел поднял палец, — я понимаю, что я очень сильно рискую... Иду на это исключительно из любви к моей сестрёнке!

Опьяневший, он обласкал Ольгу, та украдкой корчила Мармеладову гримасы: дескать, меня саму от него коробит...

Миша Мармеладов и Ольга друг другу, в общем-то, подходили (он — в точности среднего роста, она — чуть пониже такового); Павел, столь явно показывающий, что он близок к власти, был им слегка не ко двору... Он только что разошёлся с женой-москвичкой (хотя квартиру московскую сохранил) и не переставал сыпать именами нынешней московской элиты. Ведь он входил в группу подготовки речей и записок для членов ЦК и чуть ли не для самого Горбачёва! Институт, где он работал, традиционно готовил такие бумаги. Для Брежнева Павел Артюхов потрудиться не успел (слишком тогда был молод и мелок по должности), но для Андропова и Черненко писал целые куски выступлений...

... — Почему я говорю, что рискую? Понимаешь, Миш, не обижайся, ты честный человек, но... На девяносто процентов я уверен, что от тебя пойдёт утечка. Вот не сможешь ты в себе удержать того, что я говорю! «У жены есть двоюродный братец, он пишет речи для ЦК, и он заявил, что в социализм никто не верит!»

— Нет! — с пьяной убеждённостью уверял Мармеладов. — У меня тоже есть двоюродный брат, в Москве... Володька, в Министерстве авиаприборостроения работает, — вот я на него могу сослаться...

— Вот, давай! — одобрил Артюхов. — Если тебе его не жалко...

— А зачем вообще сослаться на кого-то? — возмутилась Ольга и округлила глаза. — Неужели так трудно помалкивать?

— Поверь, Оля... — рассмеялся Артюхов. — То, что я могу вам рассказать, — такая бомба... Не удержишь. Но пlevать! Мне, в конце концов, тоже надоела эта жизнь... Хотя... Мы можем всё! — Артюхов смотрел на Михаила бешено округлившимися глазами (похожими, в этот момент, на глаза жены — их семейная черта, видимо). — Вам этого даже не представить, но у нас — у советников, у инструкторов — полная свобода! Начальство одобрит всё! Главное, чтобы это не было оторвано от жизни...

— А-а, вот то-то! — уличил его Мармеладов. — Но мир партийных речей слишком далёк от реальности...

— Андропов был последний, кто верил в социализм, — гнул своё Павел. — Что будет теперь, никто, честно говоря, не понимает...

— А Черненко? А Брежнев? — спросила Ольга и потом исчезла тактично. Ей требовалось разговорить двоюродного брата для мужа (Мармеладов записывал даже), а сама она посчитала, что будет лишней...

А Павел разошёлся... Он даже отказался идти в Эрмитаж (Мармеладовы обещали ему экскурсию), вспоминал переходные годы после смерти Брежнева... Кто по-настоящему верил в социализм? Разговор бессмысленный, так как неясно, что значит «верить». По Артюхову получалось так, что народ в социализм как раз верит (мозги запудрили), а вот верхушка — абсолютно цинична. Но Мармеладов напомнил ему народную расшифровку имени генсека: *Горбачёв отменит решения Брежнева, Андропова, Черненко, если выживет*. Получается: Г — О — Р — Б — А — Ч — Е — В.

— Бабульки подхватили, а ведь сквозит недоверие к трём предыдущим генсекам и ко всей их политике...

— Да пlevать на бабулек! Давай выпьем... Буквы совпали, и всего делов... — Павел махнул водки, не дожидаясь Мармеладова. Москвича понесло: — Я готовил материалы последних пленумов ЦК, а также речь Горбатого на 27-м съезде... И заметь: ничего абсолютно нового сказано не было, кроме Январского пленума 87-го — там впервые озвучили понятие «застой». А до того всё было — за исключением суших, казалось бы,

мелочей — в рамках канона. Однако народ слушал, затаив дыхание...

— Ну да: как сказал кто-то из великих, «в искусстве главное — *чуть-чуть*», — заметил Мармеладов.

— Вот именно. Маленькая вставочка Горбачёва, «повышается роль человеческого фактора», — а уже вся речь звучит по-иному... Но только потому, что в народе ещё есть вера в это!

...По мере того как Павел пьянел, Мармеладову всё больше казалось, что как раз-таки сам Артюхов и верит в социализм. Кто он? Писатель чужих речей, то есть рабочая лошадка. Он живёт марксистскими формулами, иначе не удержался бы на этой работе. Странно вообще, как он на ней держится: ведь выпивает. Хотя — отпуск, по этому дню судить нельзя.

...— Андропов верил в социализм! — продолжал доказывать Павел то, с чем Мармеладов и не спорил. — Именно он и поставил во власть Горбачёва. Он его обхаживал, считай, где-то с середины семидесятых, сделал выбор, «усыновил» Михаила Сергеевича. И навязал его Брежневу...

— А когда Горбачёв перешёл в Москву, напомни?..

— Технически говоря, в конце 78-го, на пленуме его назначили завсельхозотделом. Но реально уже с середины 70-х Андропов его курировал.

— То есть получилось почти десять лет: Андропов умер в феврале 84-го...

— Именно так, — подтвердил Артюхов. — Десять лет Горбачёв ходил в «ауре» Андропова, и до сих пор она не улетучилась. Но что будет дальше?

Артюхов аж зубки скрипнул, и длинные костлявые конечности его свела судорога, мучение неизвестности.

— А Брежнев? — спросил Мармеладов, закусывая огурчиком. — Он верил в социализм?

— Как тебе сказать...

На дворе стоял май 87-го, Советский Союз держался крепко и даже — благодаря Горбачёву — сделался в мире любимее, чем когда-либо. Хотя уже начинало потряхивать...

Такие же разговоры вели, наверное, миллионы людей... Ольга улетела в тот же самый Казахстан через два месяца после двоюродного брата. Мармеладов даже приревновал бы её к Артюхову, если бы не разница в поездках: тот уже вернулся в Москву. Отцы Ольги и Артюхова были родными братьями и работали в том же казахском городе — Джезказгане. А оттуда Ольга слетала ещё и к собственному брату в Душанбе; вернулась в Ленинград с новой порцией «перестроечных рассказов».

* * *

Родной младший брат Ольги Андрей лишь недавно закончил институт и получил работу в Душанбе. Он женился, и невестка ожидала ребёнка к концу 87-го... Специальность у него была отцовская, металлург, и, как молодой семейный специалист, брат получил трёхкомнатную квартиру. В ней и остановилась Ольга... И тот напряг, который чувствовался в столице Таджикистана, её напугал. В Казахстане было беспокойно, но в Душанбе...

Два противоборствующих лагеря затаились словно в ожидании сражения: с одной стороны, русско-советская община (в ней глухо говорили, что «надо шире применять смертную казнь»), с другой — таджикская: не то мафия, связанная с наркотиками и исламистами, не то просто не верующие ни во что партийные ворюги, которые крутили деньгами, неслыханными для ленинградской интеллигенции.

...В Душанбе брала оторопь: о чём толкуют Горбачёв и весь центр? Какая «демократизация», какая «гласность»? Здесь скоро будут стрелять в тех, кто не говорит по-таджикски!

Слухи в Душанбе ходили невероятные, но кое о чём писала уже и московская печать. Шли аресты по всей Средней Азии, сажали целые отделы министерств, у одного секретаря обкома (рассказывали Ольге — и она верила) при обыске нашли 18 миллионов рублей и килограммы золота, у ещё одного райкомовского изъяли 500 тысяч рублей и облигаций на такую же сумму; одна из его дочерей пыталась унести с дачи мешок с тремястами тысячами. По каждой из азиатских республик сумма хищений (согласно расследованиям, начатым Андроповым и продолженным Горбачёвым) составляла сотни миллионов рублей в год, руководителей арестовывали, но всех не пересажаешь. Рассказывали и то, что Ольга считала выдуманным, пустыми страшилками: дескать, не только продают оружие афганским душманам (за саудовские деньги, получаемые через Москву же), но и освещают караванам с оружием путь прожекторами, указывают проходы через границу.

Один пограничник якобы получил взятку 50 тысяч рублей: что с ними делать? Положил в ящик для посылок и отправил на родину (на Украину) с объявленной

ценностью «15 рублей». Приговорили к расстрелу... Всё-таки Ольга не думала, что всё это может рухнуть: пройдишь катком репрессий, и они затаятся.

В Ленинград она вернулась освежённая и, сидя на кухне против Мармеладова, повторила ему ту фразу, которую услышала в Душанбе. Говорить следовало замедленно и негромко, очень спокойно и выпрямившись, как по стойке «смирно»:

— Надо ужесточить наказания, чаще давать смертную казнь...

— ...Да тебе-то зачем это? — Мармеладов вдруг её срезал. — Наоборот, сейчас нужна открытость, разбить советские колодки...

...Он был прав: здесь, в Ленинграде, в Москве смотрели иначе, вели свою борьбу. Коли так, не возбранялось и ей говорить ему о Елене Гольдман, которая позванивала ей, сообщая о событиях демократического ключа; ясно было, что Мармеладов идёт верным путём, к западной — скажем так — открытости.

* * *

...Ольга поражалась и собственной умелой подаче, и тому, как режущее отбил... Надо же было ещё так подгадать, чтобы свекрови не было (на даче на реке Волхов), чтобы это было неким их семейным советом...

«Надо давать смертную казнь...» — «А тебе зачем это?» (Как будто и невдомёк, что и её родного брата могут порешить, и невестку с не рождённым ещё ребёнком...) Но как она тут же согласилась с мужем! Вот так телепатия... Хотя потом Ольга дала себе волю: вспомнила все страхи и слухи и рассказала о тамошней преступности и не скрыла от него, что не знает, как быть и как жить. Мармеладов заявил ей:

— Я с тобой поговорил и снова стал правоверным коммунистом!

Она осеклась... А как же «открытость» и «демократизация», за которые он только что ратовал? Чёрт поймёт, что творится к голове Мармеладова, да во всей стране — чёрт ногу сломит!

* * *

До родов Ольга работала в английской школе далековато от Невского, после декрета перешла в такую же в семи минутах ходьбы от квартиры.

Это была школа, где учился Мишка, и вот теперь она пришла сюда работать под его фамилией: своеобразная преемственность получалась.

Учителя его помнили кто каким, но если директриса по фамилии Стефаниди именно так это поняла: дескать, мужняя жена ступает как бы в его туфлях, — то учительница географии — бывшая Мишкина классная по фамилии Ходос, по мужу еврейка, а может, и не только по мужу... Она в первый год Ольгиной работы ещё оставалась в рамках, но на второй и на третий начала всё больше срываться на крик против директрисы, организуя чуть ли не восстание.

— ...Слушай, Валя ваша... Вообще!.. — однажды Ольга рассказала о ней мужу. — Перед пенсией, что ли, терять — говорят — ей нечего... Но на каждом педсовете: та слово, эта — три, ни с чем, абсолютно ни с чем не согласна...

Мармеладов на это лишь хмыкнул, так как директрису новую не знал... Но лучше бы Ольга мужу об этом не говорила... Ведь боролась-то Валя и за неё, за Ольгу тоже; а косвенно — и за него, за Мишу Мармеладова. Директриса, конечно, была из тех самых, из каких и Мишкина мама: из тех, кто евреев не то что не переносят... Но, во всяком случае, ожидают, что вести себя они будут тихо и уж точно не создадут открытого двоевластия. А Валя хотела именно параллельного штаба, а может, и полного переворота в данной конкретной школе.

Она и Ольге говорила (этого мужу передавать не стала):

— Тебе эта школа не по росту, тебе надо что-то другое... Ты золото, царица! И как ты за нашим Мармеладовым, не пойму. Он ведь середнячок. «Шлюшка», я так его называла.

— Ка-ак?

— А вот так! Не замечала за ним? — Валя пренебрежительно покрутила пухлой ручкой.

— Да-а... Он приспособленец ещё тот.

— Не то слово! Приспособится ко всему! — Валя брезгливо поморщилась. — Но ты-то как? Ведь его это писательство — оно разве что-то даёт?

— Пока нет.

— Ну вот видишь. Женщины сами творят свою жизнь, а сейчас столько новых возможностей... В школе точно делать тебе нечего.

— А куда мне из школы? На хозрасчётные курсы?

— Ну, если хочешь преподавать... Тогда или курсы, или в университет постучись, на выпускающую твою кафедру. Но сейчас необязательно и преподавать, ты же видишь, как всё кипит, разрешили кооперативы, люди миллионерами становятся после росчерка пера...

Эту тему Ольга не поддержала. «Столько возможностей, что же ты мешкаешь...» Классическая дурилка, принимаемая за чистую монету и теми, кто её произносят, и теми, кто слышат.

...Но в принципе-то Валя была права: и насчёт суки-директрисы, и насчёт того, что надо что-то ловить в этой жизни, само оно не придёт. В школах, конечно, среди папаш попадаются и настоящие мужчины, и просто миллионеры, но тебя задушит педагогический коллектив.

А вот в ДК Ленсовета, на курсы, Ольга решилась перейти — Ленка Гольдман туда настойчиво звала. Уволилась из школы и устроилась в хозрасчётное образовательное учреждение (теперь уже говорили — *в кооператив* по преподаванию английского), — но одновременно не забывала и университет, крепила дружбу — странную тягу двух поколений — с доцентшей по фамилии Ягалина, у которой когда-то писала курсовик.

* * *

В первоначальном варианте романа имелась тема воспитания детей. Михаил и Ольга Мармеладовы не бездетны!

Но тема эта вводит серьёзный — и даже очень скорбный (надрывный?) — тон. Детки и их приобщение к миру людей... Нет, с комедийностью это несовместимо, ведь в комедии сами взрослые становятся детьми.

А пишется на тему Горбачёва — Ельцина именно комедия, причём транслатиническая. Уж очень залихватской была вся эта вторая половина 20-го века: вряд ли подобное вскоре повторится. Века с 18-го по 20-й уж больно «мажорными» были, в общем и целом; такое не может длиться дольше, чем указанные триста лет: неизбежно наступит резкое понижение всех ставок, некая долгая ночь...

Хотя 100-этажные небоскрёбы ещё будут строиться здесь и там, но век их, думается, уже прошёл.

Похожие взлёты человечество переживало минимум дважды: во время строительства великих пирамид в Египте и потом, две тысячи лет спустя, в век эллинизма, когда греки отчеканили свою формулу семи чудес света. Среди них был Колосс Родосский — медная статуя греческого бога солнца Гелиоса (Аполлона), в гавани на острове Родос. Она символизировала многое: мореплавание и торговлю, миллионы денег и множества рабов... Даже приход Рима в управляемые греками земли не показался вначале концом этого праздника. Однако в итоге на тысячу лет установились так называемые «тёмные века средневековья». О них говорят защитительно, что это было «время напряжения духа», но к чему лукавить? Не был ли это просто *отдых*, который и сегодня давно назрел?

Подпустить пяток эпидемий, чтобы обезлюдели города, а людишки перестали взыкать туда-обратно в самолётах и поездах... (Так мог бы рассуждать Господь Бог — да простит Он меня.) Но, и правда, оборзели мы, человечки, пора нам «отключить электричество» и успокоить нас на сотню-другую лет. Пусть сидят по хижинам, жгут лунину, пашут своё небольшое близлежащее поле...

Как писал Достоевский, «сие и буди, буди!..»

Глава седьмая

Михаил Сергеевич — тогда ещё Миша Горбачёв — закончил школу с серебряной медалью и послал документы в Московский университет, на юридический факультет.

Медалистов зачисляли без экзаменов, хотя сомнения всё-таки были: если бы золотая... (Но по немецкому получил четвёрку.) И всё же его приняли, хотя об этом пришлось запрашивать телеграммой. Прилетела ответная: «зачислен предоставлением общежития».

Ни номера, ни даты приказа о зачислении... Да и не обязаны были: приезжай и узнаешь сам. Он приехал и имени своего в списках зачисленных на нашёл, метнулся в общежитие на Стромынку 32, там селить отказались.

... — Что же мне делать? В Москве ни знакомых, ни родни... Позовите коменданта!

— Да, счас... — вахтёра общежития можно было понять: мало ли кто лезет вне списка?

— Парень, не шуми... — к Мише сбоку подошёл высокий и такой же загорелый, как он, только посветлее волосами. — Тут есть один путь, отойдём-ка...

В сторонке он объяснил Мише, что тоже зачислен, но вроде как и не зачислен, однако складывается к лучшему: есть возможность поселиться прямо в Кремле.

— Да ты что?! — Горбачёв сначала поверил, потом подумал, что это жулик. — Как вы сказали, товарищ, ваша фамилия?

— Ельников. Боря Ельников.

(С этим Ельниковым связалось у Миши неприятное... То-то у него позже ёкнет

сердце, когда появится Ельцин — человек не только фамилией, но и внешне похожий на Борьку Ельникова.)

Но поначалу всё, что тот говорил, подтвердилось: Ельникову, Горбачёву и ещё двоим предложили поселиться аж в Боровицкой башне Кремля, в отдельной квартирке над воротами.

Всего в квартирке их оказалось пятеро; пятый — опытный — объяснил, что и как. Московский университет на Моховой — в пяти минутах от Боровицкой башни, не то что от общаги — ехать пять километров. (Трамваем, потом на метро.) В общежитии на Стромынке в одну комнату набивают по двадцать и больше человек. Здесь просторнее и квартира полностью автономная: с караулом при Боровицких воротах никак не связана.

Но было обременение (как же без него?): почти каждый вечер нужно было стоять в оцеплении, ожидая проезда Сталинского кортежа, либо фланировать вдоль Манежной площади и по Александровскому саду, изображая гуляющих.

— Орден-то придётся снять! — заметил старший Михаилу, указывая на орден Трудового красного знамени, который Миша нацепил на лацкан.

— Почему это? Правительственную награду не снимаю.

— Снимешь как миленький... Начальство прикажет...

Но Миша стоял твёрдо; жалел только, что убрал орден в чемодан, в поезде на Москву. (Орден устроил ему отец, да и заслуженно: на комбайне он уже пять лет с отцом работал как взрослый.) С орденом, глядишь, и в общагу пустили бы, и в деканат, откуда его тоже выперли в первый день... Снять орден было ошибкой, но теперь Миша упёрся... И ему разрешили носить. Москва, в конце концов, тут «люди в штатском» — негласная охрана — бывали и с наградами, и в офицерской форме: уж в полковничьей точно, генеральская же и адмиральская (Миша позже узнал) допускалась для филёров в исключительных случаях по именным приказам, с выдачей удостоверения.

* * *

Выросший в деревне, городов крупнее Ставрополя не выдавший, Миша был, конечно, поражён Москвой.

Кремль был для публики закрыт — и для обитателей Боровицкой башни. Но Красная площадь... Но улица Горького... Но московское метро...

У Москвы был свой широкий шаг, каким-то образом убеждающий, что именно отсюда управляют миром. Не из Нью-Йорка и не из Парижа, которым Михаил, конечно, удивлялся на фотографиях... Но не там всё решалось.

Таких циклопических цоколей, как в начале улицы Горького — из полированного красного гранита, а кое-где из дикого серого камня, — не могло быть больше нигде. Задираешь голову, чтобы увидеть окна нижнего ряда.

Московские арки стремились вширь, переступая людские реки и Уральские горы, обозначая те же дали, которые открывались сквозь голубые ели и пирамидальные тополя, тоже растущие в московских парках.

Москва была очень русской, хамоватой, на это Мише указали другие приезжие. «Москвичи наглые, это у них традиция». Похоже на правду: уж на что народ Ставрополя неотёсан, а в Москве — ещё хуже.

Один из их Боровицкой четвёрки был ленинградцем, он вообще утверждал, что «Москва — большая деревня», но это уж перебор. Для оценки следовало съездить в Питер, но на это денег точно не было. Миша потратился... Провожая его в Москву, отец долго стоял в тамбуре вагона и соскочил, когда поезд тронулся, — при этом забывая отдать Михаилу билет. Явился контроль; Миша в свидетели призвал полвагона: «Да, стоял отец, с медалями, фронтовик...» Но, как сказали бы юристы, медали отца — доказательство косвенное, поэтому билетик всё-таки пришлось купить вторично, на это ухнула половина суммы, отложенной на Москву.

В столице поразило Мишу изобилие товаров, но и цены. В магазинах имелось даже то, чего не было на рынках. Красная икра, чёрная — зернистая и паюсная, крабы, копчёная и слабой соли сёмга, осетрина, белуга. На прилавках громоздилось охлаждённое и парное мясо: говядина, свинина, баранина; утки, куры, гуси, даже дичь: куропатки, фазаны в перьях. Хозяйки роптали: не осилить, брали свежую рыбу — судаков, карпов, треску. Было много колбас, ветчины, сосисок, самых разных сыров. И рядом с этим — дикая нищета, многие студенты в военной форме, один Мишин товарищ по группе пришёл на лекцию без носков, в ботинках на босу ногу. Рабочий народ валил по улицам в телогрейках, стипендии под конец месяца не хватало даже на трамвай, спасали студенческие столовые, где можно было за копейки взять стакан чая, а хлеб лежал бесплатно.

Увы, и Мише пришлось жить только на стипендию: та зарплата, которую пообещали за дежурства возле Кремля, оказалась блефом. Вначале её задержали, а потом было

сказано: напишите отчёты о том, что говорят в ваших группах. Миша упёрся: победа с орденом его вдохновила. Не будет он строчить доносы на товарищей. Старший над их четвёркой, пятый в квартире, толстоватый и кудрявый, с выпученными глазами, Дима Быковец, украинец, скандала из этого делать не стал, сказал спокойно, что зарплату, значит, Горбачёв получать не будет, но уличные дежурства за ним остаются, как отработка за квартиру. Так и порешили, хотя Борька Ельников смеялся над ним. Пришёл однажды пьяненький, вывалил на стол пакет с едой, круг полукопчёной колбасы, выставил бутылку коньяка.

— Всё постишься? Упрямствуешь?

Михаил молча листал томик Ленина.

— Отчёт, что ли, написать трудно? — продолжал Борька. — Я пишу — куда там Шолохову! Сочиняю — может, романистом стану...

— А я готовлюсь к семинару по истории КПСС! И ты мне мешаешь! — отрезал Горбачёв.

Борька хмыкнул, молча налил себе и выпил, вкусно чавкал колбасой, её лопающейся кожей... Михаил сам же нарушил молчание:

— Стой, а что это хрустит? Всё время этот хруст... Ты не слышишь?

— Да как же не слышать? — удивился Борис. — Это же хрущи! Ты что, не видел их ещё? Вон он!

Из угла комнаты — внизу, из-под стола — вдруг вылезла голова некоего насекомого размером с кошку: так Михаил впервые увидел *хруща*. Шёл сентябрь 1950 года; хрущами тогда Москва изобиловала. Хрущ смотрел на Мишу, казалось, с иронией, не спешил прятаться. Голова его, похожая на тараканью, но размером с кошачью, поворачивалась вправо и влево. Он как бы присматривался к Горбачёву, шевелил хитиновыми усами...

— Да что это?... Как же?... — Горбачёв не мог прийти в себя. Вот, значит, что у него хрустело под койкой ночами! — Как же мы с ними?..

— Как? А вот так! — Борька Ельников схватил молоток, который держал на тумбочке, и ударил им хруща по голове, но тот успел юркнуть в нору.

Миша, не помня себя, побежал в комнату к Быковцу.

— Товарищ Быковец! Вы, как старший... — и осёкся: Быковец в своей комнатке сидел за столом, а вокруг него торчали головы аж четырёх хрущей. Да матёрых, крупных, один — чуть ли не с человека! — Товарищ Быковец... Что это такое?

— Тихо, тихо... В первый раз, что ли? А ну, брысь! — Быковец замахнулся на двух ближних к нему существ (наглые усатые их морды Мише теперь напомнили тюленей), — и те — неохотно — скрылись, убрались в норы. А ещё двое продолжали выглядывать из-под стола. — Об этом не говорят вслух! — сказал Быковец, выпучив со значением свои и без того всегда наглые весёлые глаза. — Иногда они досаждают, вот как сейчас, а иногда... Неделями их не увидишь, месяцами! А если слишком... то вот... вот... — Быковец, оставаясь на одном месте, осторожно протянул руку и взял молоток на длинной рукоятке, лежащий на его койке. — Вот... Так! — Дима Быковец привстал и ударил углового хруща прямо в лоб молотком. Попал! Не в лоб — тот успел убраться голову, — но задел его панцирь, который смачно хрустнул, а существо возмущённо взвизгнуло и, шелестя лапами, не сразу, неловко, уползло в свою щель. — Вот как с ними!

— Но кто это? Почему партия позволяет...

— Тихо! Я повторяю: об этом — не говорят — вслух! — Быковец встал и, надвигаясь пузом, выпихнул Михаила из своей комнаты. — Вы, товарищ Горбачёв, у нас человек временный, я так чувствую... Ещё перед вами все государственные секреты раскрывать? Не дождётесь!

Почему-то Быковец сильно рассердился на Мишу, а тот ничего не понимал... Может, галлюцинации от голода? Влетел в свою комнату, где по стенам стояли их четыре койки, а в центре — стол.

— Боря... Дай мне в долг? Я выпью в долг? Я отдам, Боря! — Михаил сам налил себе полстакана Борькиного коньяка, выпил, взял со стола ватрушку и, закусывая, нашёл свою сумку с документами, надел туфли... — Я пойду прошвырнусь! Не могу больше...

Пьянея, Горбачёв понёсся прочь по осенней, ещё тёплой Москве — шумящей, веселящейся, торгующей яблоками, цветами, всякой всячиной... И никого не волновало то, что происходит, можно сказать, у них под носом. Никому не было дела до этих тварей, грызущих тайные ходы и вот уже появляющихся открыто.

* * *

Наличие в Советском Союзе *хрущей* и впрямь оказалось едва ли не самой строго охраняемой тайной. О них не писала пресса, не говорили в речах. В фильмах и книгах встречались разве что глухие намёки. Сам Михаил — хотя видел их воочию — вскоре как-то забывал, будто и не было ничего.

Но они были! Между прочим, любили хрущи появляться там, где никто их не гонял молотком, например, на официальных собраниях, на защитах дипломов, на лекциях... Иной раз лектор вещает, а из-под трибуны выглядывает хрущ. И нагло так — уставясь на студентов — а те делают вид, что не замечают... А может, и правда, не видят? Может, не всем дано это зрение, или, может, он, Миша, ненормальный какой-то?

Хрущи плотно связались для него с Борькой Ельниковым, со всей этой квартиркой в Боровицкой башне. Михаил съехал от них только в феврале 51-го, после первой сессии. Перебрался на Стромынку, в четырёхэтажную общагу МГУ, в комнату, где осталось восемнадцать человек, он стал девятнадцатым. А было, говорили, ещё трое, но отсеялись, даже на сессию выходить не стали.

Тяжко показалось Мише в этой общаге, после отдельной-то квартиры. В комнате шумно, долго не засыпают. Общежитие строилось чуть ли не в 18-м веке, как казарма. Один общий туалет на этаж, клопов тьма, есть крысы, а вот хрущей почти не было, хотя и тут они появлялись.

Условия аховые, но тем яростнее Миша вгрызался в учёбу и в комсомольскую и партийную работу. Его узнавали, выступать он не стеснялся и на собраниях, и на семинарах; бывало, и против преподавателей. Хотя, делая карьеру, особо не покритикуешь, наоборот, требовалось защищать начальство.

Всё шло у него, как у всех; лучше, чем у всех; но иногда ужас окатывал... Хрущи! Всё-таки есть ли они? Или они лишь чудятся ему и таким, как он, — таким, как те, из Боровицкой башни?

Он искал, у кого бы спросить... Однажды, весной 51-го, разговорился с Володей Либерманом — аспирантом, уже выходящим на защиту кандидатской. Стояли в коридоре университетского здания на Моховой, час был вечерний, народу — почти никого... И вдруг, из-за батареи — хрущ! Миша вздрогнул, а Володя тут же подскочил и — как футболисты бьют по мячу — ударил ногой по голове хруща... Не попал! Но тот сразу скрылся.

— Володя, скажите... А вот эти вот... они есть? — спросил Михаил. — Кто они такие?

— Вы не знаете, кто такие хрущи? — тихо, но твёрдо спросил его Либерман.

— Нет... Кто они?

— Это погромщики. Антисемиты.

— Как? В нашем советском обществе... ещё водится эта нечисть?

— Как видите. Но мы все с ними боремся. Боремся и тем, что не замечаем их, и тем, что иногда — вот как этот глупенький вылез — можно дать отпор, когда никто не видит. Но давайте не будем об этом... О них не говорят.

— Да-да, я знаю. Не говорят...

Они оба шли по коридору молча, — тем более что навстречу им — некий в шинели со споротыми погонами, с красной обожжённой щекой... Нагло ухмыляющийся — фронтовик? Прошёл с независимым видом, но прислушиваясь. Словно почуял, что именно они обсуждали.

Глава восьмая

Раиса тоже видела вокруг себя хрущей, смутно. Они представлялись ей скорее сгущениями страхов или теньями. Хотя иногда доводили до бешенства. Например, в то самое лето — уже под конец учёбы в МГУ, — когда они с Мишей, наконец, объяснились в любви и решили пожениться... Им встречу едва не испортил один наглый хрущ!

Рая и Миша гуляли по Котельнической набережной, возле только что законченного громадного дома — одной из сталинских высоток. Новые корпуса высотки уже заселялись; парочек на набережной — несмотря на ночь — было много. Они с Мишей нашли укромное место у реки и завели *тот самый разговор*. Как они будут вместе, всю жизнь...

И вдруг — с плеском — из воды вылезла голова хруща!

— Ах ты тварь! — невольно ругнулся Миша, отпрянув от Раисы.

Хрущ — мокрый, блестящий — вода струилась по роже и по хитиновым усам — нагло их разглядывал. Место было мелкое, и он не плыл, а стоял на дне...

— Ты видишь его? — спросил Миша.

— Кого?

— Да вот этого! — он указал на мокрую тварь.

— Как же мне не видеть? А кто это?

— Сказал бы я... — Миша заметался в поисках камня, но такового не находилось.

— Это погромщик, антисемит! — страшно прошептал Миша, приблизившись к Раисе. — Но об этом не говорят вслух.

— Да, об этом не говорят... — она откликнулась эхом. — Я знаю...

— Пойдём отсюда! — Миша взял её под локоть и повёл прочь. Уходили как побитые, оскорблённые и опозоренные...

Хотя на их решимость пожениться хрущ всё-таки не повлиял.

* * *

Но это будет позже, много позже...

Приехав в Москву, Раиса ни о каких хрущах и не помышляла. Золотая медалистка, она была зачислена без экзаменов в тот же год, что и Михаил, на философский факультет МГУ. Сибирячка, в Москве не бывала...

Поселили её в том же самом общежитии на Стромынке, куда и Михаил вернулся после зимней сессии. Но ей — в отличие от него — никто квартиру в Кремле не предлагал. Как и все первокурсницы, Рая попала в комнату на двадцать человек, как и все, экономила и перебивалась до стипендии... Но — музеи, но — театры, но — библиотеки! Именно библиотеки стала её отрадой, Рая сделала правилом: посещать самый большой и главный читальный зал, из тех, куда студенткой имела доступ. Брать книгу по программе и непременно — дополнительную; обе конспектировала своим прилежным почерком.

На скудость жизни Раиса не пеняла: «бедный студент», ведь издавна бытует фраза. Так и профессора их настраивали: сперва потерпите, помучьтесь, а потом — будет у вас всё и даже больше.

Независимо от личной карьеры радовали общие успехи: уже в 1950-м поднялись в Москве остовы высотных зданий. Раньше всех было сдано строение МИДа, в 1951-м. Правда, сначала без шпиля, но это уже, как говорится, детали. А всего в Москве при Сталине было заложено десять или больше высоток, реально построили семь.

Самые большие две как раз построены не были, они находились ближе всего к Кремлю и к университету на Моховой. Высотка в Зарядье... При Хрущёве на её фундаменте построили гостиницу «Россия» — вовсе не высотную, наоборот, раскидистую. Ещё одна, самая большая высотка — Дворец советов — строилась на том месте, где когда-то стоял Храм Христа Спасителя и где позже его восстановили (кто бы мог подумать).

Их, студентов, прежде всего интересовал университет на Ленинских горах. К приезду в Москву Раисы уже высились его стальные каркасы, одевались бетоном и кирпичом...

Особо близко к этим стройкам подходить не советовали: там работали как вольные, так и заключённые. Может, и военнопленные немцы, но главным образом «наши» предатели, контрреволюционеры, власовцы и разного рода вредители... (В том числе, кажется, и хрущи там были... Но они обладали удивительным умением ускользать от тюрьмы.)

В марте 1951-го сообщили: стройплощадку МГУ посетил товарищ Сталин, проверил строительные работы и озеленение близлежащих территорий. Раиса, как и все, удивилась: насколько же далеко глядит наш вождь! Кто-то бы думал о стройке — и точка, а он — об озеленении... И ведь прав! Нехорошо, если махина эта возвысится на голом месте; лучше сразу предусмотреть ёлочки, яблоньки, а может — клёны и дубы...

Раиса гордилась этими высотками, будто чем-то родным: ведь выросли они именно тогда, когда и она училась в МГУ. И знала их все; закрыв глаза, могла увидеть. Здания МИДа и МГУ, и жилые дома на Котельнической набережной и на Баррикадной улице, и гостиницы «Ленинград» и «Украина», и седьмая, «непарная» высотка, административно-жилая, в вестибюле которой находится выход из метро «Красные ворота»...

Раиса полюбила Москву как свою настоящую родину и в песне «Лучший город земли» могла бы подписаться под каждым словом.

Глава девятая

И что ожидало Раису в городе Ставрополь?

Да, сады; задохнувшийся, затерявшийся в душных яблонях и вишнях город. Бесконечные улицы с частными домами за заборами. Летняя жара, пустота и тишина этих немощёных пыльных улиц; ни транспорта, ни даже лая собак (спят четвероногие). Домишки, навверное, дореволюционные (ветхие?), да их и не видно за чащей деревьев... И ведь сплошь «частный сектор», как во времена Гоголя; и так же, как в те времена — громадная, никогда не высыхающая лужа на одной из площадей... (Это для красоты Раиса говорила про «лужу как во времена Гоголя», но лужу производила, кажется, протечка водопровода, а при Гоголе водопровода не было, воду привозили в бочках на конной тяге.)

...Ну и распределили! На жильё — очередь; пока бесплатно — общежитие, но они

предпочли снять угол за деньги. И очень многое раздражало после Москвы. Ну деревня же глухая! Печку топить; воду носить из колонки...

Как же плакала Раиса!

... — Жалеешь, что уехала из Москвы? — спросит Миша, вернувшись с работы и угадав её состояние.

— Да не я, а ты! — взрывалась она. — Это ты загубил жизнь, согласившись на это захолустье! Ведь там, в столице, ты бы мог... Ведь мог остаться в аспирантуре...

— Ничего, ничего! Мы и здесь... — он тёплой рукой накрывал её руку и вскидывал голову, с этим открытым своим лбом, смотрел вдаль, прищуренным взглядом вождя, — но сколь жалким казалось его актёрство в убогой комнатке, с этой аккуратно заштопанной ею дырочкой на его рубашке...

Подступали слёзы, и она рыдала; он утешал — сам растерянный и потрясённый.

* * *

В 56-м она вновь забеременела и в ночь под православное Рождество, 6 января 57-го, родила дочь Иришу. Девочка появилась на свет не вполне доношенной, с весом 3 килограмма с небольшим... Она росла испуганной, Ириша, изначально робкой, но и отважной — ведь с самого рождения в ребёнке виден характер! Если они с Мишей были в своём роде идеальной парой (он «образцовый папа», и она «образцовая мама»), то Ириша была без натяжек — «образцовая дочь».

...Вообще-то любой ребёнок пробуждает родительское назидательное начало... Но встречаются и дети «самостоятельные» прямо с пелёнок: при них папа-мама ходи по струнке. Вероятно, такое бывает, когда в семье доминирует дед или бабка; но у них с Мишей деда и бабки поблизости не было, так что Ирина росла папиной и маминой: можно сказать, «вдвойне воспитуемой».

Ириша закончила школу с золотой медалью, поступила в Ставропольский медицинский институт, и уже на первом курсе — ожидаемый сюрприз — появился ухажёр Толик — да сколь настойчивый! Раз упомянула Толика, два, три... Ириша в старших школьных классах, оставаясь тихоней, сделала упорную: завела магнитофон с записями Битлов, рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда»... Как уступка отсталым предкам — Алла Пугачёва, Демис Руссос и Джо Дассен: тоже с антисоветским духом, но всё-таки не таким скандальным, как «Иисус». А что поделать — повальное увлечение...

И вот — как очередной вызов — «Толя», «Анатолий».

— ...А как фамилия Анатолия? — спросил Михаил однажды, за семейным обедом.

— А что, это так важно? — вскинулась Ириша.

— Нет, но... у человека должна быть фамилия? — Михаил опешил, но, кажется, уже всё понял...

— Вирганский, — не сразу произнесла Ириша.

— Та-ак... Иисус Христос — суперзвезда, — вынес суждение Михаил Сергеевич.

— Нерусская фамилия, папа: да. Но мы ведь не антисемиты.

— Да-а... Вот так Ириша! — Михаил сделал такое движение, словно хотел с размаху бросить ложку на стол. Но удержался.

— Фамилия ни о чём не говорит, — быстро вмешалась Раиса.

— Это верно, — Михаил взял себя в руки. — Ивановых нерусских полно. И всё-таки, из каких он, Ира? Это ведь польская фамилия?

— Папа, ну какая разница, из каких? — Ириша пошла на принцип.

— А такая, что первый секретарь крайкома — это не... За дочерью первого крайкома идёт настоящая охота, и мы, Раиса Максимовна, очень с тобой ошиблись, что пустили дело на самотёк...

— Но мы ведь поэтому и не отпустили её в Москву! Чтобы здесь училась, под крылышком...

— Вот теперь, под крылышком... — Михаил всё-таки положил ложку и вышел в коридор...

Они, конечно, жили тогда в квартире, достойной первого секретаря, уже и с обслугой. В год рождения Ириши получили двухкомнатную на первом этаже, потом улучшали условия дважды.

...Пройдясь по их длинному коридору, Михаил вернулся в столовую. Там официантка привезла на тележке и выставляла на стол второе.

— Можно подавать десерт? Сразу...

— Подавайте... — он махнул рукой обречённо. — Десерт, первое блюдо, второе...

— Миша, успокойся, — Раиса значительно смотрела на него, чтобы не сказал лишнего при официантке. Когда та вышла, Михаил обратился к дочери:

— Ирочка, мы ни в коем случае не стесняем твоей свободы... Но просим об одном: чтобы ты хранила традиции предков, когда девушка остаётся непорочной до брака.

Надеюсь, ты меня понимаешь.

— Вот за это, папа, ты можешь быть спокойным, — заявила Ириша с апломбом.

— Вот и ладненько, — Михаил решил пока закрыть тему. Хотя на душе, увы, стало тяжко. Этот её отпор на дальних подступах (фамилия... а какая, мол, разница?)... — Это наш крест, — так он сказал потом Раисе Максимовне. — Это неизбежность: как Христос с ними был повязан, так и лучшие из лучших, всегда...

— Подожди, может, он ещё не из этих... — Раиса выговорила с ехидной ухмылкой, показывающей, что она кое-что поузнавала.

— Ты в курсе была? — спросил он.

— Я и говорю: ничего непонятно.

— Ну, я узнаю, что там понятно, а что нет!.. Но крест надо нести.

* * *

Раиса давно уже входила в его мысли настолько, что переставала различать, где он и где она. Решала за него и почти не ошибалась: так потом и он решал.

...Иногда ей делалось страшно: неужели и он так же входит в её душу? Но нет: она-то была ему закрыта. Этого добивалась много лет, и до рождения дочери, и после, воевала за крохотные, казалось бы, площадки. Тут своя лекция, там ещё одна, здесь свои полставки... С трудом уцепилась за штатное место в сельхозинституте (кафедра марксистско-ленинской философии), и вдруг опять сокращение, и опять всего лишь почасовик.

А Михаил даже злорадствовал (ей казалось): «Ну что, я не прокормлю, что ли? Сиди дома, воспитывай дочь...» — «Нет, Миша, ты даже родителям твоим помочь не можешь, они рубли считают. И потом, я для чего-то училась...» — «А что ты моих родителей жалеешь? Они сами нам продуктами помогают». — «Ну вот видишь: не хватало ещё, я на шею им сяду. Я могу и буду сама зарабатывать».

Она лукавила, конечно... Не столько из-за денег она цеплялась за преподавание и за диссертацию, сколько... Он ведь был мужской шовинист ещё тот! Загнать бабу на кухню! А потом что? Кто тебя наверх-то вытащит, кроме этой бабы?

Со слезами, чуть ли не с кровью... Иришу в детсад, сама на работу. Когда лекция у вечерников — Иришу с собой на вечернюю пару, играть одной в помещении кафедры, строго-настрого: бумаг и вообще ничего не касаться.

Иногда выручала соседка — одинокая женщина; да и не иногда, а чуть ли не второй мамой или бабушкой стала для Ириши. Особенно когда диссертация потребовала анкетирования и поездок по деревням. Как будто пядь за пядью отбираешь у врага пространство... Не только Миша — многие не понимали её: зачем так готовиться к лекциям, уточнять цитаты и ссылки? Наболтай что угодно, не забудь сослаться на Маркса и Ленина; так же и в статьях. Но она ставила себя педанткой: «Почему вы не укажи источник?.. А у меня вот и страница, и выходные данные сборника»...

Только так можно было настоять на своём. А для чего? Да чтобы вести за собой мужа! Она ведь давно поняла: он актёр. Делает решительный и даже свирепый оскал, но, когда требуют (то есть почти всегда), он прогибается. А нужно-то не прогибаться, а гнуть *свою* линию, именно для этого Раиса утверждала себя на одной, а потом на другой и третьей кафедре... А на самом-то деле, утверждалась в голове мужа.

...И опять — не лукавство ли это? Ведь если женщина хочет помочь мужу, она становится его тенью, то есть тушлёвывается; Раиса же, наоборот, решила стать стержнем в его мозгу. Ни на что меньшее согласиться не могла: пробовала — не получалось. Пыталась стать ему послушной женой и домашней прислугой, и так противно от себя становилось! Ясно же, чем это кончается: чем больше ты будешь самоуменьяться, тем страшнее его будут гибнуть на работе, и ты станешь тряпкой в руках у тряпки.

Значит, есть только один путь: самой стать хозяйкой и себя, и его. А на работу к нему, на его выступления, она начала приходить уже в Ставрополе. Оскорбление и надругательство? Пусть так. Он — перетерпит, а если скушает он, значит, проглотят и остальные.

* * *

Первый раз прийти туда, куда жён не допускают, оказалось труднее всего. Почин труден... Хотя позже, оглядываясь, Раиса удивлялась, как всё проделала, будто по нотам. Она уже нащупала в главном идеологе края Харипонове то, что потом использует и в Лигачёве. Хотя Лигачёву она в лицо уже не плевала, как Харипонову. Но ноты брала те же.

Это случилось, когда ей уже перевалило за сорок — и, кстати, Миша тогда задумал от неё уйти и жениться на молоденькой. Он, видите ли, хотел иметь детей, а она уже — старая карга. То есть она боролась за выживание... И этот плевок — с харкотинной — в лицо Вадиму Дмитриевичу Харипонову, заслуженному человеку, ветерану войны... Этот плевок был её рывком из темницы, к свету и теплу жизни и карьеры — из той

тмы, куда её заталкивали...

Но и подготовилась она — сначала сама, а потом и с помощью капитана госбезопасности Хрулёва: это был её ответ на Мишины амуры с молоденькими. Заставила Хрулёва её проводить до дома, свела двух мужчин лицом к лицу: Миша послание понял! Она ведь тоже может найти помоложе!..

Главное, она в архивах нашла компромат на Харипонова: он сотрудничал с немцами! Вот вам и «ветеран войны», работник политотдела Восьмой ударной армии! Кто-то уже листал подшивку и даже карандашные точки оставил на полях против нужных абзацев; а сами пожелтелые страницы устаревшего и закрытого к тому времени журнала были чуть засалены и открывались в нужном месте. Кто же читал и обдумывал эти места?... (Вообще-то она искала компромат на самого Мишу — на всех, на кого только могла. При немцах в Ставропольском и Краснодарском краях печатались газеты; в сталинской печати, выходившей уже во время войны на освобождённых территориях, и сразу после войны, публиковались отчёты о судах над предателями и об их казнях (в общем списке перечислялся «предатель Харитонов по кличке Айнзац»; а потом, в списке расстрелянных, фамилия была уже другая — Харипонов через «п»; и там, и тут в журнале стояли точки на полях); при Хрущёве затем публиковались уже иные списки — реабилитированных...)

Вовсём этом можно было запутаться — если бы не вело Раису наитие: выжить, самой затоптать противников; так травоядное животное забивает копытами оказавшегося безоружным охотника... Крикнуть областному идеологу в лицо: «Предатель Айнзац!» Нет; тут, скорее всего, ошибка. Парню (Харипонову) в сорок первом году только что исполнилось восемнадцать; может, не успели призвать в армию; побывал под немцами, подделал документы... До Берлина он точно дошёл и не скрывал, что в звании старшего сержанта; это уж после войны он стал офицером-политработником, в Ставрополь приехал, демобилизовавшись по болезни, однако летом и зимой носил пиджак с наградами колодками и подчёркивал, что он «дошёл до Берлина», что «мы, фронтовики»...

И вот — краевое идеологическое совещание. Выступать должен был Миша, а в дверях зала скалой высился Вадим Дмитриевич Харипонов — рыхлый, багроволицый, выглядящий значительно старше своих пятидесяти (хотя какой его настоящий возраст? — документы не раз утеряны и выправлены заново...)

... — А вы куда, Раиса Максимовна? — индюком на неё или коршуном... — Сюда жёны не...

— ...Айнзац... — пробормотала Раиса и вдруг на взвизге начала кричать: — Я сейчас прикажу... госбезопасность узнала, что тут будут агенты иностранных держав... Пропустите немедленно!

— Никуда я вас не пропущу! — он стоял неприступно, и тут она плюнула в его широкую личину — сначала веерной слюной, потом отхаркнула и ещё раз плюнула — а он уже падал...

У него случился инфаркт — вот что значит бешеный натиск! Из радостной толпы (совещание было как праздник, между первым и девятым мая) вынырнул капитан госбезопасности Хрулёв — да не один, а с двумя подручными-хрущами!

— Увезите его в больницу! — Раиса картинно указала пальцем вытянутой руки на поверженного врага. — Пусть они увезут! — уточнила непонятно, а капитана Хрулёва придержала: — А вы сопроводите меня в первый ряд зала...

Дальше её триумф шёл по нарастающей. Появились члены президиума (во главе их Миша). Весь зал встал, аплодируя, а когда все сели, Раиса осталась стоять, повернулась лицом к залу и гневно озидала участников совещания, как бы выискивая среди них врагов... Люди опускали глаза (некоторые), а другие возмущённо кололи её взглядами: кто это, почему такое вопиющее нарушение?!

...Ей пришлось сесть, хотя Миша открыл совещание тоном, который давал всем понять: ничего необычного не происходит, всё так и должно быть... Он больше всех говорил в этот день: из трёх часов более двух; раскраснелся; и она была красная (говорили даже — свекольно-бордовая), вставала ещё и смотрела на зал всё более уличающе. Болезненное и мучительное возбуждение поднималось в ней и захлёстывало уже настолько, что она перестала соображать... Встать и повернуться к ним — обладать, владеть этим залом — пугать их...

Шум нарастал, превращаясь в возмущённый гул, и тут вступал Миша:

— ...Товарищи, а ну-ка потише! Что это за шумок какой-то? Всё идёт по плану, мы продолжаем нашу работу... Слово предоставляется...

Шум стихал; Раиса какое-то время не вставала, но минут через двадцать... Волна возбуждения снова делается невыносимой, и она опять надменно поворачивает голову и через плечо глядит на зал (вон — хрущи бегут по проходу!), а потом встает и поворачивается и глядит прямо на них... Хрущи спуют и что-то делают с несогласными,

будто мешки страха надевают, натягивают на головы...

* * *

...Она возвращалась домой с триумфом — шагала пешком всю дорогу, ничего вокруг не видя. У их дома — прямо у входа — стоял какой-то человек, вальяжно прислонившись к косяку... Хрущ! — Раиса счастливо рассмеялась. Это не человек, с ними можно не церемониться...

И он ухмыльнулся — чуть скривил свою неподатливую коричневую муравьиную рожу — и отошёл-отполз, как-то суетливо двигая бёдрами и лопатками...

Только-только Раиса перевела в квартире дух... Сначала умылась, потом хотела снять костюм и переодеться в домашний халат, но почему-то передумала и осталась в костюме.

И тут явился Миша — печальный и торжественный.

... — У меня к тебе разговор... — взял её за руки, усадил рядом с собой на диван. И сказал тоном усталым — обречённым — но и многозначительно поучающим:

— Вновь появились хрущи...

Она долго молчала, потом выдавила из себя:

— Да, это так.

Глава десятая

Уже на первой встрече с Рейганами — в Женеве в ноябре 1985-го — Раиса смело сказала американской чете: «Когда вы приедете в Москву, я буду вашим личным гидом». Все ахнули, кто-то несмело улыбнулся... А она сама не верила в то, что сказала: скорее, это был вызов или даже хамство.

Формально-то Миша и Рональд договорились сразу: тот пригласил нас в Вашингтон, а мы их — в Москву. Но это казалось пустыми словами: никто не верил в Женеве, что дойдёт до дружбы и до настоящего обмена визитами.

Тогда, в Женеве (казалось Раисе), царил холод — не только погодный, но и политический.

* * *

...Нэнси интересовала Раису давно, как-то странно... Вроде бы нужно взглядеться: первая леди Америки — а взгляд сам отталкивается от неё. Простушка? Допустим; но очень неприятная. Не приведи Господь встретить такую на коммунальной кухне! Не скандалистка, но явно с ней лучше не сталкиваться...

Взгляд отпрыгивал от неё, и приходилось заставлять себя в неё всматриваться. Скоро и ты меня почувствуешь, заметишь... И Раиса, кажется, ощутила миг, когда Нэнси *вгляделась в неё!* Это произошло ещё до инаугурации Рейгана и даже до его первой победы на выборах, которая случилась в ноябре восьмидесятого. Мишу из кандидатов в полные члены Политбюро перевели 21 октября 80-го, и вот тут, в один из последних октябрьских дней, Раиса почувствовала, что за ней наблюдают холодные и бесстыжие женские глаза. Словно бы раздевают её... Это Нэнси Рейган впервые в неё *вгляделась!* Две ауры столкнулись и проникли друг в друга...

...Ещё был жив и, казалось, вполне деятелен Леонид Ильич, ещё впереди были назначения Андропова, потом Черненко, — а Раиса и Нэнси уже всматривались друг в друга и прикидывали шаги.

* * *

Раиса и Миша были почти ровесники, Нэнси — на десять лет их старше, а Рональд — на все двадцать, 1911 года рождения. Рейган был всего на пять лет моложе Леонида Ильича, на четыре года моложе Виктории Петровны, супруги Леонида Ильича.

...Итак, Раиса почувствовала, что американка её изучает, уже в конце восьмидесятого. Но потом Запад о ней забыл — и слава Богу. У Запада хватало забот с Брежневым, Андроповым, Черненко; Михаил Сергеевич временно оказался в тени, а с ним и она, Раиса. Ещё раз слава Богу!

...Когда Мишу избрали генеральным, произошёл, конечно, взрыв популярности: вся пресса вдруг как накинута на него — и на неё тоже. А писали о ней то же самое, что болтали в кулуарах... И Раиса долго ещё поражалась убогости журналистской фантазии. Если бы требовалось всё перевернуть наоборот, то вот оно и было. Она мужу давала играть первую скрипку, а её называли властолюбивой; она одежду воспринимала как рамку для прекрасной картины или как полочку, на которой выставлен богатый экспонат (её красота), а ей приписывали «любовь к нарядам». Неужели трудно понять, что одевание отвлекает и что если её в чём-то и можно уличить, то в показе себя, а не в драпировке.

Конечно, полочка тоже должна быть изящной, желательна — никакой, ибо все

взор — только на то, что помещено для обозрения.

Кстати, Нэнси Рейган тоже это понимала (да и есть ли такая, что этого не разумеет?), поэтому одевалась подчёркнуто просто.

Их первая встреча с Нэнси произошла в Женеве, куда они с Мишей прилетели на переговоры по разоружению, 19 ноября 1985-го.

* * *

...Нэнси вообще здорово ей, Раисе, подыграла — как и Рональд её мужу. Но Миша им просто не оставил выбора: такой напор мирных инициатив... «Сократить ракеты вдвое!» Это простое слово «вдвое» взбудоражило весь мир: попробовали бы американцы отмолчаться!

...Да и американцы ведь понимали: фактически Миша предлагает почётную сдачу, он согласился на капитуляцию ещё до того, как они поставили ультиматум.

И в том, что он твёрдо настаивал на разоружении — фактически на осторожном признании своего поражения, — была заслуга её, Раисы.

Да, как и муж, она ненавидела Запад, её трясло от их отношения к нам. Но в том и величие строя, что он самых низших поднимает до обладания всеми правами. Мы не кичимся, мы, наоборот, смиряем гордость! А коли так, то надо и твёрдо продолжать разоружаться и мириться. С этого началась советская власть — с ленинского одностороннего выхода из войны, — и этим Миша отметил вершину советского времени: она же стала так называемым «крахом», а на самом-то деле торжеством, как распятие Иисуса.

* * *

...Всё это теоретически ясно, но сколь же трудно осуществимо! Взять Женеву. Вот их первый совместный семейный ужин, в резиденции Рейганов, вечером после первого дня переговоров.

Нас с Мишей привезли на лимузине, я в короткой собольей шубке, в платье точно того же цвета, что и мои волосы: «палевый каштан». И даже золотые серёжки на мне были с точно того же цвета камнем.

В общем, я оделась скромно, а уж Нэнси! Всё — смесь золота и платины, хотя не кричаще. Платье цвета леопарда, в разводах и пятнах, на шее — умопомрачительное кольцо с бриллиантами: золото и платина, очень много нитей, закрывающих низ шеи и весь верх груди, однако тонко и стильно.

Нас посадили крест-накрест: я рядом с Рональдом, а напротив нас Миша рядом с Нэнси. От нашего края широкого стола до их края — метра три, в середине много букетов жёлто-кремовых роз, целый бруствер. Потом зажгли свечи и потушили свет в зале, но вначале журналисты снимали с многих точек, вопросы задавали, я отвечала по-английски, простенькими фразами:

— I know!.. I don't know!..

Миша отшучивался:

— Меня спасает то, что я не понимаю по-английски!

(Немного-то он понимал: вместе учили и английский, и немецкий.)

Пока нас снимали, перед началом ужина, мы все могли осмотреться по сторонам. Справа от меня сидел Шульц — противная личность, но за ним — наш посол в Америке Добрынин. Слева от меня Рейган, за ним Шеварднадзе, иногда нагибался к столу и сбоку-снизу смотрел мне в глаза, подбадривал. Напротив — Миша и Нэнси, Миша от неё не то что отворачивался, но мало ей уделял внимания, на что ему Замятин из нашей делегации даже намёками и рукой указывал: мол, соседку не забывайте, Михаил Сергеевич.

Но её разве забудешь! Я в первые минуты в шоке была, от того, что сделала Нэнси... Мы вышли из лимузина, и их чета нас встретила на пороге дворца. И вот первый подал Миша руку ей, а она не только задержала его руку в своей, но и второй рукой погладила его по руке: двумя руками долго держала и гладила. А ему — не вырывать же! Наконец, отпустила и тут же меня осыпала добрейшей и горячеей улыбкой: дескать, мы друзья, мы всё друг другу позволяем...

Ну актрисулька! Нравы актёров порочные во всём мире, и их семья не чужда, конечно.

Потом Рональд подал руку мне: мягкую и тёплую, а я — лодочкой, по-русски, мол, я не такая, не подумайте. Миша и Рональд пожали руки с достоинством и по-мужски, кратко. Но Нэнси! Потом и за ужином эти штуки повторялись. За столом — он сказал мне — раза три или четыре: нагибалась, якобы к переводчице, и бедром прижималась к его бедру. А потом — сразу взгляд на меня, так сказать, с лукавой добротой. И я уже поняла: прикасается к Мише в этот миг. И мне посыл такой: мол, и ты не робей, коснись моего Рональда тоже...

А переводчицу посадили между Мишей и Нэнси: вот уж оторва, рыжая эмигрантка,

прямоком — по виду — из борделя: наглая, хитрая, с сальной улыбочкой... Провокации по полной программе!

Хорошо, что не было на этом ужине Александра Николаевича Яковлева: он манкировал, и место пришлось заполнить другими. А так-то он в Женеве очень помогал, вдохновлял Мишу: твёрдо стоять на своём, на пути к разоружению. Напрасно его называли «похабным банщиком» — очень вдумчивый и мудрый человек! Надо же было помнить, что это было за время: восемь месяцев прошло после смерти Черненко, Миша только обживался во власти. Ещё и термин «перестройка» не закрепился, вначале говорили об «ускорении»... И тут — многим как обухом по голове — Женева, встреча с Рейганом, ужин при свечах...

Ответный в нашей резиденции был ужин, но тут мы не только не зажигали свечей, но и свет приглушать не стали. (Правда, нам, в самый ответственный час переговоров, женевацы выключили свет во всём советском комплексе... Но это отдельная тема.) На нашем обеде всё было тепло и дружески, но ярко освещено, дескать: никакие шуры-муры не проходят.

И мы дали им это понять: обжимания всякие и бедрами под столом — это не для нас. Да, мы сдаём позиции — потому, что заранее так решили, а не потому, что нас затискали и обслунывали. И подарков посулили.

Нет, господа, это мы вам даём подарок: уходим с фронта, выходим из войны, поленински.

И там, в Женеве, мы именно такую линию провели, и не без «вербовки» с нашей стороны. То, как держались мы — Миша и я, — это было по-начальственному, без робости. «Раз я так делаю, значит, так надо...»

Так и сказал Миша, когда сели в самолёт обратный: «Вставили им фитиль».

* * *

Конечно, главное бывало после переговоров и между раундами. Общение за обедами и потом ночные диалоги...

Эти разговоры в ночи не бывали (по крайней мере, у Раисы) столь же сложными, как записанные словами тексты в пьесах. Обычно это один-два образа и одна-две ключевые фразы.

И вот то, что Раиса увидела уже после Женевы... А может быть, после Рейкьявика? Или после того, как чета Рейганов принимала их в Америке... — Раиса увидела некие *ножницы*, которыми очень деловито кто-то режет материю, перекраивает мир. Нэнси! — догадалась она. Ах ты хлопотунья! И тут же включилась в ней советская дивчина, которая, не рассуждая, кидается против несправедливости: «*Не резать, но соединять, зашивать!*»

...Нет! Ножницы упрямо кромсали материю, послушную под чьими-то умелыми руками; преимущество ножниц было в том, что они были *видны* Раисе, поблёскивали и позвякивали, а эти вот «объединять, скреплять» были отвлечёнными понятиями, бессильными перед сталью лезвия.

Раиса сообразила сменить тему...

РАЙСА. А как же дети? Вы их тоже учите резать? Или скреплять?

НЭНСИ. *(Молчит.)*

РАЙСА. Ага! Значит вот так можно перебить неудобную для себя мысль! *(Это я уже не ей, себе говорю... Вызвать в уме другой образ: своей Иршки, её мужа Анатолия и внучек Ксении и Анастасии.)*

РАЙСА. Как же дети, Нэнси? Разве вы их не учите скреплять, но не разрывать, не разрезать важные узы?..

Глава одиннадцатая

Ненависть к коммунистам то затухала в Рональде — и годы о ней не вспоминал, — то вновь разгоралась... Вот, например, любимая жёнушка Джейн — первая его жена, Джейн Уайман. Длинноногая стройная блондинка с широким лицом простушки. Как будто бы целиком и полностью ему подходит — ан нет...

Первые годы всё шло хорошо: в 1941-м родила дочь Морин, выкормила и растила её, не отвергала разговоров о втором ребёнке. Сиди дома, жёнушка: муж зарабатывает достаточно. За 15 лет он сыграл в сорок одном фильме; чем дальше, тем чаще — главные роли. Вскоре после рождения дочери подписал новый контракт: на семь лет с гонораром миллион долларов в год. Ну какие могут быть претензии к такому мужчине и отцу?

...Но мог бы догадаться: если она ушла от двух мужей, уйдёт и от третьего, от него. Несмотря на деньги; она, видите ли, считала, что он — не самый блестящий в мире актёр... А ей, значит, нужен был самый-самый? Нет, главная проблема не в том.

Ей кружила голову жажда собственного успеха: она считала *себя актрисой номер один* в англоязычном мире. Отсюда её всё-таки нежелание заводить второе дитя. Предлоги, отговорки, несовпадающий график съёмок... И всё-таки подписавшего этот невероятный контракт и получившего первый миллион Рональда было не остановить, и он её, что называется, пригвоздил. Она забеременела и в сорок седьмом родила недоношенную девочку, которая умерла через несколько часов после родов. Хоронили, ходили в трауре, но тогда и прозвучало впервые, от Джейн Уайман:

— Вообще-то те, у кого один ребёнок, например, только одна дочь... тоже могут считаться счастливыми родителями! Правда, Ронни?

— Не знаю... — он почувствовал её руку на своей талии и содрогнулся. — Думаю, что с одним ребёнком счастливым быть трудно. Но мы ещё молоды! — обнял её за плечики и чмокнул в щёку. — Мы ещё родим...

— Нет! Я боюсь... — она отстранилась.

Разговор он замаял, а потом: так ли, сая, дескать, нужен бы сын, мужчина не может без сына... Усыновили Майкла, который родился без отца. Мать-актриса от него отказалась...

Ну вот, жена (мог бы сказать Рональд), не можешь или не хочешь родить естественным путём — вот тебе младенец приёмный. Расти, воспитывай, проявляй материнские качества...

И вот после этого — смертным приговором — холодным, роковым... развод! Она его уведомила о разводе и отказалась обсуждать.

... — Рон, я согласна обсуждать детали, и нам надо их обговорить. Ты должен помогать детям. Но само решение — прости — я не изменю. Мы должны разойтись.

— Но почему?! Одно главное скажи: почему?

— Почему? Ты сам — актёр, ты знаешь, что это забирает без остатка...

... Да, кто-то ей напел в уши, а скорее, вскружили голову примеры успешных актрис того времени. Их было много, хоть та же Вивьен Ли из «Унесённых ветром», — а ведь Джейн была интереснее, чем Вивьен Ли и чем многие другие. Тут Рон был согласен, он даже говорил позже (когда страсти остыли), что ей на некоторое время удалось стать звездой номер один в американском кино. Потом её затмили Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро, но сразу после развода...

Да, тогда Джейн Уайман взмыла к небесам, она прорвалась в фильмы категории «А» (чего он так и не смог добиться), — и какой же фильм вывел её на эту орбиту? «Джонни Белинда», лукавая феминистская сказочка. Джейн сыграла главную роль — глухонемой девушки, дочери мельника. Носить воду, кормить кур, засыпать зерно в жернова... Девушке вполне искусно запачкали личико и спутали волосы, нарядили в рвань, и получилась «угнетённая крестьянка». Хотя сам её отец в фильме признаёт, что она умна, только не слышит и не говорит, не умеет ни читать, ни писать.

Влюбившийся в неё доктор учит её сначала азбуке немых, а потом она рекордно быстро получает образование, и Джейн Уайман уже играет себя — сообразительную и одухотворённую (а она умела быть таковой, когда ей нужно). Зрители ахали, видя наглядный повтор сюжета с Золушкой: из замарашки в умницу и красавицу. Развязка неожиданна и кровава: у героини двое мужчин, и сын (этот самый Джонни Белинда) от одного из них; все думают, что от доктора, а на самом деле — от изнасиловавшего её шкипера рыболовецкой шхуны...

В общем, феминизм по полной программе: изнасилование, угнетение, попытки мужчин держать под спудом такое сокровище... Сценарий словно для Джейн писали — да так оно и бывает в кино: актёр и сценарий должны совпасть. А уж если и сюжет устраивает «прогрессивную общественность», — тогда жди оглушительного успеха, каковой и последовал. Премия Оскар — и не одна, фильмы твёрдо — в категории «А», Джейн Уайман твёрдо — в категории звезды на всю оставшуюся жизнь...

От фильма к фильму она делалась всё более остроумной и блестящей; часто на экране появлялась в шортах — показать свои длинные ноги. Повторялся мотив: она сообразительнее мужчин и ими крутит. «Девушка в комбинезоне умнее начальника гаража». Потому-то, наверное, — в конечном счёте — Элизабет Тейлор и Мэрилин Монро стали более яркими звёздами. Уж это были *бабы так бабы*: женственность на пределе, *работали* над своей женственностью. А стройная Джейн Уайман развивала в себе исключительно качества успеха, присутствовал и холодок снежной королевы, это, наверное, и настораживало так называемую зрительскую массу.

...Ещё её фильм почти сразу после развода вышел на экраны: комедия «Поцелуй во тьме» (1949). Она играла ту самую — длинноногую в белых шортах — профессиональную фотомодел, в неё безумно влюбился пианист-виртуоз, концертами зарабатывающий миллионы... И она крутит даже им: наша «девочка-мальчик» ни перед кем не робеет! Рональду виделась в этом месть ему лично, какое-то разоблачение даже. «Ты, милый, хотел меня посадить в кухню и в детскую, — но сам-то ты кто? Ведь ты-то

и есть — женщина, из нас двоих...» (Да, кое-что о нём она знала, хотя, слава Богу, не всё...)

Случайно ли её взлёт совпал с его актёрским кризисом, а всё это вместе — с обострением борьбы в Америке? После войны Голливуд, можно сказать, раскололся... Так называемые «прогрессивные деятели» создали «Независимый гражданский комитет искусств, наук и профессий»¹, с центром как раз в Голливуде. В него вошли Чаплин и Эйнштейн; от Американской компартии они отмежевались, но на деле с ней были тайно связаны. Правые нанесли контрудар: маккартизм и «Комиссия по расследованию не-американской деятельности», House Un-American Activities Commission (HUAAC). Рейган давно сотрудничал с ФБР, сообщал, кого подозревает в тайных связях с коммунистами, эти материалы подшивались (читал в справке Горбачёв) как «сообщённое информатором Т-10». *«С 1941 года встречи были эпизодические, с 1946 года — регулярные; Рейгану требовалась поддержка ФБР, так как он выдвинулся в руководство Гильдии актёров и в Совет кинопромышленности. До избрания его губернатором Калифорнии в 1966 году продолжал работать на ФБР, после избрания роли поменялись: уже он руководил секретными службами».*

Но ведь и Джейн Уайман для ФБР была — «боевая подруга». Тут-то и крылась западня. В Америке на ФБР работали как правые, так и левые — вот и думай, как выкручиваться! Когда Рейгана вызвали в Вашингтон давать показания перед Конгрессом, он заявил твёрдо: «Голливуд как целое ведёт правильную линию». И ни одного имени публично не назвал! (Хотя по секрету называл.) Но чем же тогда его «позиция» отличается от самых записных прогрессивных и красных? Они ведь тоже говорили, что стоят за Америку и за демократию!

Весь в целом Голливуд (или в большинстве) был настроен прогрессивно и антицерковно, клонился к той самой аморальности, которую Рейган познал на собственной шкуре — или, говоря проще, на собственной заднице, — а ему хотелось бы той идиллии, когда это всё — и невозможно, и ненужно. Играть бы вдумчивых ковбоев (или офицеров), а жена, тварь, пусть сидит дома и растит детей! (Но тогда она уже из твари превратится в верную соратницу, трогательную в своей беззащитности.)

Нет же! Толкали Голливуд, гнали его — сетью незаметных и непонятных уловок, наводящих на мысль о мировом заговоре, — совсем в другую сторону... Ну вот почему, например, фильмы, где играла бывшая жена, гремели и якобы делали огромные сборы (да не якобы, а реально шли на них толпы, подстрекаемые рекламой). А его фильмы, которые он считал лучшими — «Королевский ряд» ("King's Row") или «Из ночи в ночь» ("Night unto Night"), — плотно сидели в категории «Б»? Кто определяет эти чёртовы категории? Какие ветры дуют в мозгах у тех, кто распределяет премии Оскар?

Категория «Б»... Извините, но он создал эпохальные образы — даже и американо-британского — мирового — звучания, например, в фильме «Горячее сердце» ("The Hasty Heart"). Над ним смеялись: *звезда фильмов категории «Б»*, и он, что греха таить, может быть, неосознанно подпускал шутовства, «соответствовал». Да, он не учился актёрскому мастерству и кое в чём до конца остался непрофессиональным. Например, он не мог себе отказать в удовольствии: произнести слова роли точно по тексту и не париться, если звучит неестественно. «Так написано в сценарии, если перепишете, я прочитаю другое...» Режиссёр, как правило, объявит «снято» и тоже не будет поднимать шума, как и остальные актёры. Их, может, коробит то, что по роли они должны подчиняться этому размазне по фамилии Рейган, но роль есть роль: у него главная, у тебя вспомогательная — терпи.

Рональд брал другим: он сознательно показывал слабость и даже женственность своих героев, — а то, что они при этом совершают крутые мужские поступки... Ну, считайте это чудом, если вы вообще верите тому, что делается на экране. Сыграть грубого и резкого — не такая уж задача, а ты вот сыграй-ка мужчину, который нежнее нежного, но делает при этом ходы, имеющие дальний и — если так можно выразиться — стратегический смысл.

Он играл так, как если бы уже наступило царство Христа и как если бы оно никуда не собиралось уходить...

Но жена ушла от него, семья разрушена, и вот он, сорокалетний, оказался в абсолютной пустоте... Будучи оптимистом, он называл эту пустоту свободой и не лукавил. Действительно, сил ещё было много, и повернуть он мог в любую сторону. Хоть добейся громадной роли и потрясающе её сыграй, хоть продолжай карьеру в Гильдии актёров и в Совете кинопромышленности. Хоть вложи заработанные тобой миллионы в какое-нибудь молодое авторское кино (но государство отнимало налогами аж половину доходов... — этого он никогда не мог простить демократам и их якобы

¹ Independent Citizens Committee of the Arts, Sciences and Professions (ICCASP) — американская ассоциация, неформально лоббировавшая интересы Нового курса, а также борьбы за мир (1945-46).

«справедливой налоговой системе»...)

И тут появилась Нэнси Дэвис с её невинной вроде бы просьбой. Не поможет ли он убрать её имя из списка коммунистических симпатизанток?

* * *

Когда Нэнси стала встречаться с Рональдом, то главный вопрос был: числит ли он себя (как и она) в рядах «угнетённых повстанцев» или он всё-таки «власть имеющий»? Волнуясь, она ему на первом же свидании высказала:

— ...Я сама не знаю, откуда взялись эти чувства повстанца, жертвы... Вроде всегда я была за равные права всем, да и к бедным мы не принадлежим, наоборот... Кое-что есть в семье, и наследственное, и приобретённое... Но как-то вот... Ведь пробиваться приходится — ты это испытываешь? Или ты — считаешь — уже пробился?

— Нет, я, конечно, не пробился, но... — Рональд с улыбкой указал на её бокал: — Это не шампанское? Ты так буйно, фонтаном, или пузырьками...

— Нахал! — она отодвинула от себя фужер. — Я могу и не пить. А ты можешь не отвечать...

— Но в чём вопрос, я не совсем понимаю... Конечно, мы не пробились. Есть Чаплин, есть Керри Грант у Хичкока, другие актёры... Мы не пробились, и, кстати, я не считаю, что стою выше тебя в актёрском смысле...

— Спасибо, Рон. Это лестно...

— Я не совсем пробился, хотя я доволен результатом... Но меня остановили две вещи: во-первых, война, а во-вторых, коммунисты!

— Это неожиданно! — Нэнси отпрянула к спинке стула и отодвинула свой бокал к краю стола. И словно бы замкнулась, облачилась в броню.

От этой реакции Рональд растерялся, но потом продолжал:

— Это не было сделано как-то вдруг, одним-единственным скандалом или... очернением меня... Но коммунисты владеют оружием... Игра не на одной шахматной доске, но через расстановку грессмейстеров и даже через расписание шахматных турниров — понимаешь меня? Они крупно видят — большую картину...

— Понимаю... Духовное сражение, как говорят в церкви.

— И это есть, духовная битва... В общем, я признался, что я неудачник! — заключил он со смехом.

— Нет-нет! — она показала, что успокаивающе накрывает ладонью его руку, хотя для этого ей пришлось бы тянуться через стол. — Но я сделаю вывод из того, что ты мне сказал, — добавила она глубокомысленно и подняла бокал — и он поднял.

— Cheers!

— Cheers!

Отпили оба — совсем по чуть-чуть...

...Тысяча девятьсот пятидесятый год. Ему тридцать девять, ей двадцать девять (вечные двадцать девять, но она уже уменьшила себе на два года возраст и утверждает, что ей двадцать семь). А кажутся одинаковыми по возрасту, Рейган даже моложе её выглядит. (Но он и в восемьдесят лет, оживляясь, жестикуюлируя, превращался в семнадцатилетнего...)

...Всё-таки понимали уже оба, о чём идёт речь: не об удачах-неудачах и не о коммунистах, а о том, кто в их паре оптимист, а кто спойлер; кто указывает путь, а кто хлопочет над постройкой дороги.

Всё на свете имеет обратную сторону. Девушка и парень, невеста и жених, муж и жена обязательно говорят о политике и о ценностях — хотя бы один раз в жизни. Иногда это имеет вид неких сомнений или «испрашивания совета» (когда разговор начинает женщина): «Я вот не понимаю, дорогой... Почему то-то и то-то?» — то есть она ему даёт некий пас (быть может, голевой): разверни твоё кредо, скажи, как должно быть, «ведь я не понимаю». Как ты (муж) будешь действовать, и как должна поступать я (твоя возможная жена).

Но не содержится ли уже в самом вопросе намёк на ответ? Некоторые мужчины уходят от такого разговора: «не бери в голову», «я, типа, не понимаю, о чём ты переживаешь»...

Вопрос политики и религии — лишь один между мужчиной и женщиной, есть и иные столь же важные: деньги...

Нэнси и Ронни были не уверены друг в друге: отсюда и нарастающий взаимный интерес. И в деньгах у обоих — сомнительно, и в политике, и в карьере... да и в любви тоже!

* * *

Нэнси вообще-то делала карьеру стремительную, хотя понятно было, что это роли второго плана. Например, «East Side, West Side»: фильм о соперничестве двух (или даже трёх) женщин за одного мужчину, — а Нэнси играет всего лишь подружку одной

из трёх. То есть по важности женских ролей — примерно «номер четвёртый». Зато — безукоризненно приличная дама, тип «образцовой молодой учительницы».

Довольно быстро стали давать и главные роли, в фильмах "Night into Morning" («Из ночи в утро») и "The Next Voice You Hear" («Следующий голос, который ты услышишь»). В обоих фильмах у неё роль добродетельной молодой женщины, никакой *романтической любви* тут нет.

И она понимала Рональда, и тоже могла бы сказать, что её «затёрли коммунисты»... Точнее — приверженцы антихристианской и антиморальной линии. Те люди, которые диктуют формулу успеха: фильмы о деньгах, о каких-то бешеных страстях, убийствах, перестрелках. Только такое якобы в Америке «пойдёт». Серьёзные же сценарии сразу попадали в категорию «Б», то есть заведомо малоприбыльные. Кто таким образом расставил гроссмейстеров и расписал турниры? В широком смысле — коммунисты. Делают из капитализма то, что достойно лишь свержения, хотя по видимости их мысли — только о барышах.

Тут железная действовала логика — самой по себе современной культуры. "East Side, West Side", где три самки соревнуются за одного самца и где у Нэнси «роль номер четыре», — этот фильм мог быть (и был) кассово успешным в англоязычном, да и во всём остальном мире. Зримые съёмки Нью-Йорка, званые вечера богатого класса — это «Ист-Сайд». А вот и Нью-Йорк бедный, «Вест-Сайд» (в тогдашнем Лондоне всё наоборот), но бедный Нью-Йорк дан лишь на пять минут, мельком, случайный заезд по делам. Фильм шикарный, а раз так, то получай, Нэнси, почти незаметную роль. А там, где ты в ролях главных...

Например, фильм «Следующий голос, который ты услышишь». Средняя американская семья: муж (его сыграл Джеймс Уитмор), жена (Нэнси) и сын-школьник. Ожидается рождение второго ребёнка... И вдруг в семь-тридцать вечера по радио слышится некий мужской голос: «С вами говорит Бог. Не забыли ли вы Мои заповеди? Я хочу вам напомнить о Себе...»

Это повторяется целых шесть дней подряд: каждый вечер — странное включение «неизвестного передатчика». Интересно, что напрямую «голос Бога» ни разу в фильме не звучит. Первый раз муж пересказывает жене то, что услышал, на второй вечер к приёмнику собирается вся семья, но сын испортил аппарат, и, пока отец его чинит, нужное время пропустили. Хотя диктор «для тех, кто не успел настроиться на волну», повторяет «слова Бога» по сделанной стенограмме (а на магнитофоны голос якобы не записывается).

На третий день в Вашингтоне образовали комиссию и чуть ли не целое министерство для мониторинга происходящего. «Голос Бога» слышат на всех радиоволнах и во всех странах, на разных языках, в том числе и «позади Железного занавеса». Кое-где люди перестают выходить на работу, а на авиазаводе, где герой фильма работает сборщиком, среди разных обсуждаемых слухов есть и такой: «не русские ли всё это затеяли?»

В субботу герой фильма в баре встречается старого знакомого (моряк вернулся из рейса с большими деньгами), и тот ухитрился нашего семьянина подпоить и чуть ли не увлечь его к перемене судьбы. «Ты здесь гниёшь, а за океаном столько шансов...» Плотно засев в баре, герой передачу этого вечера не слышит, однако же он в последний миг успевает вырваться из-под влияния собутыльника. И даже обличает его: «Твой голос — голос зла!» ("Yours is the voice of evil!") — (Не отсюда ли возьмёт позже Рональд своё обличение «империи зла» — Советского Союза?)

Фильм этот, с Нэнси в главной роли, Рональд посмотрел не единожды...

И сам он тоже играл весьма правильные роли и произносил в этих фильмах патриотические монологи, иногда похожие на проповеди. То есть явная категория «Б»...

Но зато!.. Зато он взял из фильмов и из этих лет посыл, который позже прославил его как президента. Это была почти истерическая вера в добро. Тебя бьют по лицу, а ты улыбайся, не ввязывайся, ведь их больше в данный момент, потому они и распустили руки. Сумей уйти с достоинством, а потом, переосмыслив, поймёшь, как действовать, потому что больше всё-таки не их, а тех, кто верует в торжество Христа.

Такие роли писались для актёров в амплу «праведников», и в сценариях таких не было недостатка... То есть многое из того, что позже говорил губернатор Калифорнии Рейган и президент Рейган, было не его собственным сочинением, а вспомнившимися, заученными когда-то словами из ролей. В одном из таких фильмов ("Kings Row") врач-негодяй намеренно ампутировал ему ноги, а Рейган — без ног — всё равно улыбается. Или всё тот же американско-британский фильм 1949 года "The Hasty Heart" («Горячее сердце»). Действие происходит в военном госпитале в Бирме, где Рейган играет единственного американца среди выздоравливающих британских солдат. Их в палате всего четверо (с Рейганом пятеро), и к ним кладут шестого — шотландца, — о котором врач-полковник по секрету предупреждает, что жить ему — недели две-три. У него удалили одну почку, а вторая вскоре обязательно откажет, потому просьба: «сделайте для него

последние недели мирными, чтобы он умер, окружённый любовью».

По сути дела, это приказ, который выздоравливающие — хочешь, не хочешь — выполняют, что просто, поскольку этот самый шестой, отчасти по своему национальному воспитанию, а главное, по характеру, очень неудобен. Именно о нём-то и говорит название фильма «Горячее (точнее — «торопливое») сердце», "The Hasty Heart".

Это герой анекдотов про шотландцев, хотя время съёмок подсказывает, что фильм намекает на немцев или на русско-советских. На кого-то, являющегося максималистом в крайней степени, приближающейся к самоубийству.

Ему скажешь: «Будь как дома», а он ответит: «Разве ты хозяин этой палаты? Я имею такое же право, как и ты, быть здесь как дома». Он железно стал бы изгоем среди раненых, если бы не имелось приказа об обратном. И настоящим чужаком чувствует себя вообще-то Рейган, который не то чтобы играет самого себя... Все знаменитые артисты играют себя, хотя критика утверждает, что они якобы «хорошо вживаются в образ». Они хорошо вживаются в саму жизнь, потому естественно выглядят в любом костюме и в любом сюжете.

А вот Рейган понимания с жизнью как раз-таки не имел, потому именно он в этой палате из шести выглядит лишним. Он вроде здесь главный, но каким образом американец (по кличке «Янк») может верховодить среди британских военнослужащих, не вполне понятно. Он начинает новые разговоры, и он же запечатывает их какой-нибудь шуткой. Так написана его роль, а остальные актёры микроскопическим недоумением показывают, что не вполне одобряют сценарий... Они ведь тоже понимают, что подписались на категорию «Б» и что фильм никогда не станет столь же кассовым, как, допустим, «Питкин в больнице». Тоже британский госпиталь, но сто-процентная хохма, а в «Горячем сердце», видите ли, философия, к тому же — на тему смерти...

«Почему шотландцы, играя на волынке, маршируют? Потому что пытаются удрать от своего звука»... Такого рода шуточки помогают, конечно, смотреть, но отчаянная схватка с судьбой человека, называющего себя актёром Рейганом, это зрелище скорее мучительное, чем приятное. Оно завораживает, как любая происходящая на твоих глазах беда, и повторно испытать её не очень хочется.

...В чём же беда? Вполне себе импозантный мужчина... Сразу бросаются в глаза его роскошные волосы — и довольно вычурно уложенные. Это что, намёк на двуполость? Кое в чём Рейган похож на женщину (на собственную маму), в таком случае эти волосы есть вызов: ну докажи, в чём я не мужчина? В некоторых фильмах у него один пробор, в некоторых целых два, прочерчены жёсткой мужской рукой, утвердительно. И зачёс с висков назад над ушами — по виду, набриолиненный — тоже агрессивно мужской, но к чему вообще эта аккуратная причёска в военном госпитале? Все остальные в палате просто растрёпанные или никакие, а тут — произведение искусства!

Сексуальную раздвоенность играет Рейган и в другом фильме 1949 года, "Night unto Night" («Из ночи в ночь»). Ему тридцать девять лет, но вид уже совсем зрелый, почти как у будущего президента. Пиджак, галстук... Но всё те же, ещё юношеские, пухлые губы (с возрастом это исчезнет), а сахарные зубки выявляют изящные очертания челюстей и всего черепа.

...Женщина, с которой у героя роман, ещё менее уверена в себе — да что там, она просто безумна. Это молодая вдова, которая сдаёт роскошный особняк во Флориде состоятельному талантливому учёному (Рейгану). Муж её погиб в море, и она хочет съехать из особняка, где всё напоминает о погибшем. Учёный, наоборот, ищет уединения... Но сюжет в том, что и он душевно болен (редким видом эпилепсии); болезнь почему-то надо скрывать — хотя в этом же фильме нам сообщают, что эпилептиками были и Цезарь (это правда), и Наполеон (скорее, клевета), и лорд Байрон...

Фильм превращается в любовный роман депрессивной сумасшедшей и эпилептика. Ей кажется, что муж не умер, она разговаривает с его духом, приходящим к ней ночью и даже днём. Биохимик Рейган доказывает, что это «антинаучно», и дух мужа исчезает, заменившись любовью к арендовавшему особняк постояльцу, но этой любви принять не может уже учёный, поскольку он одержим собственной тяжёлой и (как ему кажется) смертельной болезнью. В его роли есть эротический подтекст, который можно выразить простой фразой: «Я не могу быть мужчиной». В этом убеждён герой Рейгана; и уже вдова, в свою очередь, спасает его от суицида... Как будто бы в финале «торжествует любовь», но так ли? Не случайно ведь фильм назван «Из ночи в ночь»...

Как раз в эти годы — конец сороковых, начало пятидесятых — очень многое происходило в жизни актёра Рональда Рейгана. Маккартизм, показания в комиссии Конгресса по расследованию неамериканской деятельности; развод с первой женой

и новая женитьба на Нэнси, в марте 1952-го; и постепенный отказ после этого от кино-карьеры, переход в политику, что и увенчалось (в 1966 году) избранием его губернатором Калифорнии.

Мало кому этого не вменяли, вот и Рейгану... Он сотрудничал с ФБР — а кто из разумных людей не контактирует со спецслужбами? Разве что так называемые провокаторы; это как раз те, кто почему-то чуждается нормальной работы («позвонил — сообщил — выслушал инструкцию...»). Провокаторы не хотят быть связаны формально, отсюда их стремление *тем более* угодить тайной полиции и даже *обойти её на вираже*, как слишком неповоротливую.

Рейган провокатором не был, он был обычным добровольным помощником органов («Информатор Т-10»). Эпизодические встречи с людьми из ФБР после 1946 года стали регулярными и продолжались двадцать лет, до избрания его губернатором. Он сообщал, кто из актёров симпатизирует коммунистам, евреям, гомосексуалистам...

...В 49-м Рейгана избрали главой Совета кинопромышленности; возглавлял он и Гильдию актёров, но таких организаций было ещё несколько, и каждая, как водится, утверждала, что она-то и есть «самая американская» и «самая свободолюбивая»...

* * *

...Когда Нэнси пожаловалась ему, что в одном из списков «врагов Америки» есть её полная однофамилица, «Нэнси Дэвис», он проверил: да, проблема такая существует. И они начали встречаться...

Списки «врагов Америки» не были никем утверждены и просто гуляли из одной колонки сплетен в другую. При этом любой журналист мог сам, по желанию, добавить кого-то или, наоборот, исключить из списка. Иными словами, тревога её была лишь предлогом, рассчитанным на то, чтобы поймать богатого мужа — его, Рональда...

Но он присмотрелся к мисс Нэнси Дэвис... По типу лица (простое и широкое) она была похожа на его первую жену, а по росту сильно пониже. У Джейн Уайман длинные ноги, у Нэнси скорее — коротковатые.

Вначале он ограничился кратким ответом. Дескать, в кинопромышленности работает три или более персон, являющихся её полными тёзками, «Нэнси Дэвис». Единственное, что может сделать актриса мисс Дэвис, — упоминать этот факт. А дальше, пусть люди сами первые скажут, какие списки и какие взгляды им ближе. «И всё?» — «И всё!» — так можно было бы закончить телефонную беседу, но Нэнси не унималась:

— Но ведь это угрожает моей репутации! Да что там: всей моей актёрской судьбе! (Ещё немного, и она всхлипнет?)

— ...Давайте встретимся и обсудим вашу актёрскую судьбу, — предложил Рональд с доброй шуткой в интонации. — А заодно и мою: мне ведь тоже есть на что жаловаться.

— Ой, я с удовольствием! — обрадовалась Нэнси. — Я встречаюсь с вами, если у нас совпадут графики...

...Как говорится, полдела сделано, встреча состоялась. Опыт у неё имелся, в мужчинах она разбиралась. Сумела взять, как сказали бы музыканты, диссонирующий аккорд. То есть впечатлила его прямо противоположными качествами. И покорностью робкой девочки, и, в то же время, наездом молодой знаменитости. Она снималась в роскошном фильме (кстати, категории «А») — «East Side, West Side», а он только что вернулся из Англии, где четыре месяца шли съёмки американско-британского «Горячего сердца». Типичный фильм категории «Б», — хотя Рональд сделал вид, что это не так, что это, мол, «фильм-прорыв, снятый в традициях антигитлеровского союза»...

...Но всё было ясно: она идёт вверх, он — в лучшем случае — держится на плаву, на том же уровне. И ещё Нэнси его впечатлила: у неё — актёрская семья (в отличие от семьи Рональда). Мама лично знакома с половиной нынешних звёзд, а ещё есть дядя Нэнси, мамин брат, актёр Уолтер Хьюстон, весьма влиятельный. Рональд его знал и уважал как «старшего коллегу», а тут: нате вам, ещё и родственник...

Встречи их продолжались, и Нэнси брала всё время тот же самый аккорд с диссонансом... А что же он? А он брал такие аккорды на экране свободно, а в жизни почему-то оказался зажат... Робкая девочка спрашивает опытного актёра, как ей вести себя на съёмках... Что он мог ответить? «Слушайся режиссёра»? Эта ниточка почему-то никуда не вела, всё время обрывалась.

...К нему домой она отказывалась ехать, к себе заходить разрешала; они смотрели вместе телевизор, а потом он уезжал. (Телевизор был ещё необычен, диковинен в те времена.) Вместе с Роном она ездила к его друзьям: Ардис и Билл Холдены тоже были полу-актёры и полупродюсеры с непонятным каким-то статусом. Но такая дружба семьями всех четверых устраивала: Рейгану она давала «младшего партнёра», а у Нэнси появлялась «старшая партнёрша».

Так тянулось весь 50-й год и 51-й. Приходила весна, и Рон отвозил её на своё ранчо,

Нэнси красила ему забор, хозяйничала, возилась с двумя его детьми: десятилетней Морин и пятилетним Майклом. Учила с ними стишки, а Майкл даже читать начал по букварю, который она держала в руках. Там же, на ранчо, она решила, что вот сегодня она во что бы то ни стало сблизится с ним как жена с мужем...

...Вроде бы дела шли так, как она хотела? Как им обоим хотелось — Рональду и Нэнси? (Причём именно он — на первом месте.)

Глава двенадцатая

В ЛИТО Ройзмана развивался сюжет с книгой «Золото партии» Лундквиста.

«Новенький!» — так его громко назвал Женя Алябьевский. Он стоял посередине их залы и как бы контролировал пространство — оно медленно наполнялась студийцами; ни Ройзмана, ни Лундквиста ещё не было.

«Новенький!» — это слово Алябьевский произнёс выжидающе и приглашающе; и смотрел на Мармеладова... Тот чуть было не возразил: «Этот новенький нас с тобой обгонит», — но решил промолчать.

А вот Марина Нечаева — как будто мотор некий заработал, ритмично зарокотал и залопотал... Такое у неё было умение: начинать с середины фразы или даже абзаца, нащупывая этот ритм и лишь в конце находя что-то осмысленное...

— ... Мы ведь... слушай, ну, ты знаешь, ну, я не знаю... вообще, это непорядочно, ну как-то вот прямо, я не понимаю... вот с бухты-барахты: «новенький»: ну почему так? Ну как это? Миша, ну вот ты скажи: как это? Как понимать? — она наступала на Мармеладова.

— Я должен сказать? — удивился Миша. — К тебе обращается Алябьевский!

— Ко мне обращается?! — Нечаева захлопала глазами в изумлении.

— Ладно, ребята! Я чувствую, с вами каши не сварить, — заявил Алябьевский и пошёл к выходу, где и встретил входящего Ройзмана. — Здравсьте, Лев Исаакович!

— Здравствуй-здравствуй, — тот прошёл, ни на кого не глядя, к председательскому столу.

Алябьевский стоял у дверей и смотрел на Ройзмана и вдруг громко спросил:

— А как же советские идеалы?

— Что... — Ройзман вздрогнул. — Что ты сказал?

— Ой, это я не вам! — Алябьевский словно бы очнулся. — Это я из пьесы, фраза одна... — и он вышел из зала в коридор.

— Так... — Ройзман, раскрасневшийся от мороза, потирал руки. — А где у нас Пётр Лундквист, ещё не пришёл? А, вот и он...

Вошёл похожий на царя Николая Второго бородатый Лундквист, собирались и рассаживались остальные, вернулся Алябьевский...

... — Уважаемые товарищи! — заговорил Ройзман. — Я решил вынести на ваше обсуждение вот что. Само время сейчас необычное. Я принадлежу к тому поколению, которое помнит ещё хрущёвскую оттепель, и мы видим и отличия того, что делает сейчас Михаил Сергеевич, от того, что делал тогда Хрущёв. А чтобы вы мне охотнее поверили, я привёл с собой ещё вот одного динозавра тех лет, — давненько он не бывал у нас, а ведь когда-то считался моим соруководителем... Герман Иосифович Гоппе, вы упорствуете в том, чтобы сидеть сбоку — с уголку, или всё-таки ко мне, за председательский стол?

...Алябьевский совсем сник. Он уже чувствовал, к чему идёт. Его книга «Ночное дежурство» стояла как будто бы следующей по графику, но явно было, что Ройзман хочет книжкой Лундквиста его оттеснить. Тем более возник из небытия соруководитель, и начались разговоры о времени, на которые — попробуй что-то возрази.

Этот Гоппе — в противоположность барственному крупному Ройзмону — казался раньше Мармеладову сущим карликом. Маленькая совсем лысая, а может быть, бритая, головка; свитерок, пиджачок... Но сейчас, выходя вперёд, Гоппе вдруг показался и помолодевшим, и словно бы выросшим. Даже лоснящиеся на коленках старые брючки — и те его возвышали.

... — Я сначала не поверил в перемены, — так начал Гоппе, обдёргивая пиджачишко и переминаясь, стоя рядом с Ройзманом, но не садясь. — Потому что хором закричали о перестройке именно те люди, которые ещё недавно были символами застоя. А многие уважаемые Львом Исааковичем и вот мною, наоборот, говорили: мы подождём. Но сейчас уже ясно: перемены не остановить. Или, по крайней мере, они будут гораздо глубже тех, что случились — а вернее будет сказать: не случились — при Хрущёве...

Гоппе всё время переглядывался с Ройзманом, как бы получая от него сигналы продолжать дальше. Но потом — показалось — вспомнил о чём-то нехорошем и испугался.

... — Но я как был скромным литконсультантом, так и останусь! — заявил Гоппе. —

Ни к чему не стремлюсь, и на этот-то «выход в свет» не сразу согласился...

— Осторожность ваша понятна, — успокоил его Ройзман. — Но не будем и прибедаваться. Горком партии — не менее того! — только что дал нам ещё одну книжную позицию, так что выпускать мы будем не одну, а две «первые книги молодых авторов». Это для тех, — Ройзман со значением посмотрел на Алябьевского, — кто опасается, что перемены только отбирают. Нет: они и дают! Не только вторая книжная позиция, тут новое издательство учредили и даже хотят не одно: такие перемены, что закачаешься!

И правда, похоже было на то, что начался ледоход. Вода прибывает и несётся неостановимо, крушит и ломает вчера ещё неподвижные льдины. Разговор этот — о добавленной их ЛИТО второй книжной позиции — произошёл в январе 87-го, а уже осенью того же года обе книги были готовы к печати. И «Ночное дежурство» Алябьевского, и «Золото партии» Лундквиста.

Правда, саму печать их много раз откладывали... Но Ройзман не унывал, и уже весной и — окончательно — осенью утвердили и две новые книги на следующий год: обе — женские. Соответственно, это были книги Ольги Клочковской и Яны Лукмановой. Марина Нечаева осталась за бортом и по этому случаю почти была готова покончить с собой.

Её выручил — можно сказать, спас — не кто иной, как Мармеладов.

* * *

Начинающие писатели в разных формах решают одну и ту же задачу: как обмануть время или, точнее, как накопить его, чтобы в запасённые недели (а ещё лучше — месяцы) создать шедевр, который принесёт гонорар, аванс на новую книгу и так далее.

В этом уравнении неизвестная часть заключена в словах «создать шедевр», потому что негласно советский писатель считался стоящим выше партии, произведение должно было нести загадочный ритм, духовное топливо, подтягивающее к себе весь остальной мир и преобразующее его.

Но кабалистика прозы, оказывается, зависела от способа, которым ты запасалась время, от того, где ты ухватывалась эти лишние куски... Красивым считалось шабашить летом, а осенью и зимой творить литературу; но Мармеладова здесь что-то настораживало, как если бы фокусник нуждался в выключении света, чтобы сотворить своё чудо... Раз! — и у тебя в руках живой заяц или голубь, а откуда ты его извлёк, никто не видел в темноте. Но такой фокус не удивит; вот если ты сотворишь то же чудо, не гася свет и у всех на виду...

...Иными словами, литература сама должна быть топливом для литературы; она должна быть не более отдалена от искусства, чем журналистика. То есть на той же машинке, на которой ты строчишь репортажи, ты должен отстучать и рассказ. И Мармеладов чувствовал эту стилистику мрачной державы...

Гнилая осень, переходящая в заморозки; первый снег, тонуций в чёрной грязи; гибельная, глухая тоталитарность в стиле Андропова. Умирающий в зубоврачебном кресле генсек...

Всё это волновало до дрожи, и кое-что он написал в таком духе — удачно. Но пришёл Горбачёв, и всё начало быстро меняться. Весь тоталитарный пафос был в неизменности, как бы в вечной мерзлоте, но теперь южные ветры поманили в тёплые моря, к белым пароходам... Обратной стороной оказалась тема лагерная: уже становилось хорошим тоном оплёвывать социализм и вытаскивать из-под его более или менее приличных одежек вшивую лагерную майку, когда-то белую, а нынче бурую и грязную.

* * *

Слава Богу, Михаил Мармеладов не лишён был чувства юмора и от серьёзных мучений на тему «как написать шедевр» легко переходил к пьяным и смешным посиделкам с Алябьевским и Назимбаевым, с которыми у них сложился план: написать втроём остросюжетный шпионский роман!

Предложил эту идею Алябьевский; он же сам брался написать основную часть текста, а на долю соавторов оставались, во-первых, блестящие идеи, которыми они якобы должны были фонтанировать, а во-вторых, правка и редакция. Первым план Алябьевского поддержал Назимбаев, а потом уже они двое пригласили в соавторы Мармеладова.

... — Мысль интересная... — полусогласился Мармеладов, услышав об этом романе.

— Только, Женя, потяну ли я вот эту, шпионскую-то тему? Тут ведь нужен опыт, а я... Разве что знание английского сближает меня с разведчиками...

— Ты в порту работаешь, — напомнил ему Алябьевский. — А у нас как раз-таки будет в романе погоня среди контейнеров...

— Перестрелка, — добавил с ухмылкой Назимбаев. — Человек падает с трапа

прямо в воду...

— Ну да, — подтвердил Алябьевский. — Беготня по судну, какой-нибудь кран опускает стрелу, чтобы снять человека с палубы или, наоборот, опустить на палубу, на голову шпиону...

— Так-так-так... — продолжал прикидывать Мармеладов. — И что-нибудь среднеазиатское тоже будет, да? — он направил палец на Тимура, словно разгадал загадку.

— Почему бы и нет? — пожал плечами Тимур Назимбаев. — Но Средняя Азия — не главное. Порты должны быть: Ленинград, Нью-Йорк, что там в Европе? Роттердам, Гавр... Всё должно быть увязано в единый сюжет, — Назимбаев сжал смуглый небольшой кулачок.

— Так-так-так... — Мармеладов решил. — Давайте, и правда, поработаем и сделаем хороший роман!

— «Роман века»! — хохотнул Назимбаев, а Алябьевский, меж тем, разлил водку.

— Лев Исаакович нам не устаёт повторять, какие сейчас возможности, — напомнил друзьям Мармеладов, хотя они и сами, вероятно, вдохновлялись теми же советами Ройзмана. — Так давайте схватим этот шанс!

Алябьевский первым поднял рюмку:

— За успех нашего «романа века»...

* * *

Ольга Мармеладова размышляла... Быть может, она чересчур осторожничает? Но кто знает эти кооперативы и всю горбачёвскую внутреннюю политику: может, завтра кооператоров прихлопнут, как энпманов?

А с Ягалиной у них, действительно, возникло сродство: это была по-своему несчастная женщина, воспитывала сына-инвалида. Но она была парторгом университетской кафедры — фигура. Если переходить из школы в университет, то поможет только Ягалина... О бывшем муже Ягалиной — Вольфсоне — Ольга с ней не говорила, но он как бы иногда появлялся, незримо. Он как раз был из так называемых «теневи́ков»: хозяйственник, посаженный за якобы хищения. На зоне смертельно заболел, вышел по активировке и умер.

...Сложный она была человек, парторг кафедры Ягалина, — но Ольга нашла к ней ключики и просиживала у неё часа по три, по четыре, по пять... за нескончаемым чаем и разговорами, возвращалась домой на последнем троллейбусе, а то и на такси, если троллейбусы уже не ходили.

Ягалина обещала, что в перспективе — не сразу — Ольга сможет защитить кандидатскую, а пока помогла оформиться ассистентом кафедры с нового календарного. И Ольгу утвердили преподавателем кафедры английской филологии — той самой, которая была выпускающей её и её мужа в студенческие годы.

* * *

Мармеладов как член ЛИТО Ройзмана участвовал в целых двух совещаниях молодых писателей Северо-Запада. Бывали, кажется, и всесоюзные совещания молодых, но попасть на них не довелось, а впрочем, и их северо-западный уровень вклучал гостей из Эстонии, так что вполне себе всесоюзный привкус.

Первое такое собрание оказалось ещё вполне советским... Зато каким солидным! С торжественным открытием в главном зале Дома писателей на Воинова. С двумя десятками семинаров или рабочих групп. И какие люди в президиуме! Но испортил всё один крикун: молодой, но дородный и налитый кровью, что называется, «мордастый парень», который начал свой крик откуда-то от дверей...

... — Почему тюленей?! Почему котиков уничтожают?! — он орал и всё более прибавлял в тоне торжествующего надо всем этим порядком насилия. — Вы тут правильные слова говорите, тут говорят, тут многие говорят, а там!!! Тут говорят! А там! Уничтожают экологию: тюленей, котиков!

...После первого возмущения и оторопения... кто это? Явно сумасшедший! Как пустили его? После замешательства всем стало ясно, что его никто не будет останавливать, что голос его уже торжествует, вознёсся и топчет оттуда оробелый президиум и весь зал... И уже многие, съёжившись, сочувствовали ему: ну давай, ещё! Так их, коммунистов, крой! Сильнее...

Удивительно было то, что «сумасшедший» этот владел техникой и начала выступления, и безболезненной концовки. То есть он не доводил до того, что не выдержат и схватят, — а очень плавно смолкал и растворялся, оставляя неприятное чувство, весь день ноющую рану, но сам-то уже исчез!

Столь отвратно это всё было, что о нём даже не заговаривал никто между собой! «Из недопущенных на совещание... больной, изолировать бы его...» Нет, вообще не

упоминали! А и на следующий день, уже в другом, малом зале, он опять поднял голос от входа и всё более истерично — визгливо — и как пушечным ударом — овладел волей всех!

... — Котики умирают! Убивают тюленей — котиков убивают! И это малая часть!! Как делать вид, что не замечаем убийства экологии? Нитраты отравили популяции животных и птиц... Вы — тут — сидите — правильные слова болтаете, а там — тюленей и котиков убивают!!..

Мармеладов смотрел на того, кто казался главным в президиуме: «Что же ты молчишь, распорядись, наведи порядок...» А тот столь же брезгливо глядел в зал: «Ничего не можете, молчите как трусы!»

А крикун про тюленей и котиков опять плавно исчез, и опять все делали вид, будто ничего и никого не было.

Глава тринадцатая

В разговоре с Алябьевским и Назимбаевым Мармеладов как-то раз сказал о Марине Нечаевой: «Я её спас»...

Мармеладов и Нечаева оба — члены ЛИТО Ройзмана; сам Бог велел им дружить, и она всё больше интересовала его, он почему-то уверен был, что у них всё «получится», то есть они станут близки...

В Марине имелась двойственность, которая раздражала любопытство Мармеладова и которая (двойственность) могла быть замечена — если внимательно присмотреться — на любом уровне её жизни.

Первый вопрос: русская она или советская? (Но это — самая навязшая в зубах дилемма, о которой давно уже скучно говорить.) Нечто поинтереснее: она, что называется, «из хорошей семьи» или «из простых»?

Она была натуральная блондинка и в то же время имела во внешности нечто финское — «чухонское», как говорят в Питере: круглое лицо и широкие подглазья: неправильно говорят, что у азиаток «широкие скулы» (то есть челюсти) — у них широки именно подглазные кости, но они, впрочем, у Марины, совершенно не замечались благодаря «распахнутым» серо-голубым глазам, поистине повторяющим небо, как своей невинностью и чистотой, так и громадной умудрённостью, потому что небо простирается надо всем без разбора: и над свалками, и над закрытыми элитными территориями, и над обычными улицами и домами, лесами и пашнями, над охраняемыми военными объектами.

Во все эти запретные места Марина казалась вхожей, а подтянутая ладная фигурка наводила на мысль о волейболе и о прыгучем лёгком мяче, который тоже ведь способен миновать любые заборы и сетки и неуклюже и нервно выставленные руки защитников и режущим ударом поразить то место, куда направил мяч игрок.

Много позже, когда ЛИТО Ройзмана уже закроется, Мармеладов встретит её в вагоне метро, в довольно плотной толпе, хотя и не в давке, они окажутся против дверей вагона, и она, в чём-то спортивном, может быть, просто в кроссовках или ещё и в брюках, а главное, с тем лёгким видом, будто лишь на миг задержалась возле собеседника, сообщила ему что-то о Литинституте... но что? Он потом вспоминал и не мог вспомнить её слова, потому что сообщение — как и всё у Марины — было противоречивым и содержало взаимоисключающие вещи... А может, это он не сумел отделить то, что сказано вслух, от того, что она лишь подумала?

Сухой остаток: «Я была на грани самоубийства, но меня приняли в Литинститут». Или так: «Если бы меня не приняли в Литинститут, я бы на себя руки наложила». Неужели это можно сказать в метро, встретившись лишь на минуту и на пару фраз?

А почему бы и нет? Меньше одного перегона они общались, потом она мячом катнулась к дверям:

— Слушай, мне на другую линию... Ну пока, не пропадай!

Мармеладов задумался... Когда это было? Ещё до его первой поездки в Америку или после? Сам-то он Литинститут не заканчивал, хотя уже публиковался, а она... Если пораскинуть мозгами, то получалось: у неё вообще не было публикаций! Ройзман и прочие как-то о ней в нужный момент умудрялись забыть и не включить в сборник, в журнальную подборку, не напечатать в газете...

Те немногие опубликованные её рассказы, которые прочёл в итоге Мармеладов, удивляли неоспоримым талантом, но рассказов-то было... Четыре... пять... шесть — и всё! Это за всю жизнь! По рассказу в трёх сборничках, один в журнале, о повести про людей-собак она лишь на словах ему рассказала... Это было ещё одно проявление её двойственности. Она кто, в конце-то концов, неудачница или блестящая звезда? (Или «звездами» мы и называем тех, кто всё время на грани провала?) Где она живёт, он знал, и в каком месте города работает — тоже (однажды проводил, не до самой

работы, а почти)... Сварливый голос её мамы (по телефону) тоже знал хорошо, а в самой квартире в Купчино не бывал, позвонил один раз поздно вечером, мужской голос спросил через дверь:

- Кто там?
- Простите, Марина дома?
- Нет её.
- Извините...

Что и требовалось узнать... Спустился вниз, ждал её у подъезда; они почти вместе ушли из гостей, он попозже, но на такси её обогнал... А вот и она приближается к своему подъезду, расслабленно-пьяненькая, но ни в коем случае не покачиваясь, а просто — одна рука в кармане брюк, хулиганской такой, развинченной походкой... Он шагнул вперёд из-за распускающегося большого куста — она чуть не ахнула, ему показалось — обрадовалась, не ожидала... Он, ничего не говоря и не думая, на автомате — одной рукой за талию притянул её к себе, бёдра к бёдрам, другой рукой... скорее двумя руками взять её голову для поцелуя в губы — и тут же, поцеловав, отстраниться, почти отпихнуть её...

- Ну всё, пока! Спокойной тебе ночи!

Весенний, влажный, тёплый двор был безлюден; он быстро зашагал вдоль её блочной девятиэтажки, ровно той же дорогой, которой явилась она, только в обратную сторону, соображая: ходит ли ещё транспорт? На такси второй раз тратиться не хотелось...

А почему не остался, она ведь рада была ему... На вопрос, кто такой этот мужчина, потом она ответила: «Квартирант». Тут чувствовалась её борьба с мамой, действовавшей по принципу: «во что бы то ни стало выдать дочку замуж». А дочка ни за кого не выходит, хотя ей вот уже давно за тридцать... Ну так пустить в дом молодого и холостого квартиранта — но это, принимая во внимание свободолюбивый (а грубее выражаясь — склочный) характер Марины, ни к чему не могло привести кроме обратного тому, на что рассчитывала мама...

(С другой стороны, не был ли этот «квартирант» её любовником? Достоверно Мармеладов знал только об одном её близком мужчине: о писателе Сергее Фёдорове. Это был такой же неудачник — а некоторые говорили, гений, — как и она, Марина Нечаева. С Фёдоровым у неё точно была связь — когда-то; а может, и тянулась, не прекращаясь... Ни Фёдоров, ни Марина не имели детей; возможно, и не могли их иметь...)

Правда состояла в том, что Мармеладов ничегошеньки не знал ни о ней, ни о её маме, ни о её жизни вообще — даже тогда, когда они стали близки. Но она всегда держала Мармеладова на расстоянии и даже один раз бросила трубку (уже после близости), а до того всячески по телефону он извивался и чистил и всё делал и обещал лишь для того, чтобы она разговор не прервала...

Вот такая женщина, противоположная «роковой», но ведущая себя ещё своенравнее, чем так называемая фатальная. Вообще-то собственная жена Мармеладова Ольга именно такую роль для себя написала и играла, но там была именно роль (как и блондинка Ольга была не натуральной, а крашеной), а у Марины, похоже, всё было не игрой? Это, впрочем, случится всё уже гораздо позже — уже после развода Мармеладовых. Лишь после его возвращения из второй поездки в Америку они станут близки с Мариной Нечаевой...

И ещё одна, быть может, самая главная двойственность, которой он не мог в ней не заметить. Обладая ею, ты чувствовал, что владеешь всем Петербургом, если не Россией. Из трёх десятков женщин, с которыми бывал Мармеладов, только она имела это качество. В то же время он ясно понимал, что она в прямом смысле — «никто», работала, скорее всего, сторожихой, а к концу жизни и квартиру потеряла, оказалась в комнате в коммуналке.

Глава четырнадцатая

Чудесный взлёт Горбачёва, возвращение его в Москву после двадцати четырёх лет в Ставрополе — вот, казалось бы, настоящая тема этой книги.

Но романы не принято, да и не нужно писать об удачах, невозможна ведь более яркая удача, чем та, которую создал для Себя наш Господь Иисус Христос: быть распятым на кресте! По мирским меркам это провал, а на деле — высший успех!

Похожее торжество организовал для себя и Михаил Горбачёв: он «развалил» некую историческую сущность, но в этом-то и была его цель, всё более чётко осознаваемая...

1985-й год был началом «перестройки», но следующие три года прошли более или менее в «разговорах», решающий удар по системе был нанесён только весной 89-го, во время выборов в Верховный Совет. Их Горбачёв подготовил так, чтобы

не пустить в парламент «консерваторов», и это ему удалось. Верховный Совет стал «реформаторским», а дальнейшее уже было делом техники: как председатель президиума этого самого Верховного Совета («президент»), Горбачёв уже не нуждался в партии, которую подвёл к самороспуску. Основа же власти после 1989 года стала другой: прямое голосование за этого самого «президента страны»...

Свою задумку насчёт Верховного Совета Горбачёв реализовал благодаря одной технической «закавыке». Зачем-то в бюллетенях, чуть ли не со сталинских времён, печатали два квадратика: «за» и «против». Если имелся всего один кандидат, то это было логично: избиратель приходит на участок и в знак одобрения ставит галочку или крестик в поле «за». Если же он «против», то он элементарно на участок не является.

Если бы Горбачёв хотел сохранить систему, то он убрал бы из бюллетеней поле «против», тогда все, кто пришли на участок, оказались бы «за». Но и Горбачёву с его сторонниками, и всему народу так уже надоела партийная говорильня, что все вместе пошли на сговор или, можно сказать, на «удар в спину» ретроградам. Там, где на участках оставили только одного кандидата, например, местного секретаря обкома, этот кандидат получал громадную массу неодобрительных документов. Сотни тысяч пришли и поставили крест или галку в графе «против»; понятно, что за этим следовала отставка...

Одновременно Горбачёв сделал членами Верховного Совета, по «квотам от общественных организаций», самых верных себе людей, антикоммунистически мыслящих. От Академии наук, от творческих союзов; в том числе, и от КПСС провёл не через выборы, а по квотам людей именно такого духа.

Голосование состоялось в марте 1989 года, и западные радиоголоса на следующее утро после выборов ликующим тоном известили: в главных советских городах партийные боссы проиграли, получив громадное число голосов «против»...

* * *

...Одна из громких неудач для партии случилась в Ленинграде: первый секретарь обкома Соловьёв провалился...

После так называемых «первых свободных выборов» в Верховный Совет Политбюро собралось 28 марта 1989 года. Уж такие все были мрачные, подавленные, а вместе с тем — зудели и гундели между собой, словно не видя, что Горбачёв занял уже председательское место; словно не слыша, что он открыл заседание и начал говорить.

— ...выборы стали крупнейшим шагом, важнейшим событием...

Нет; прерывают, восклицают, между собой переговариваются!

— Товарищи! Если кому-то тяжело здесь находиться... — негромко сказал он, — можно и выйти...

Помолчал... И они смолкли. Не то чтобы совсем, но стало похоже на тишину. И он продолжал говорить...

Не стал слишком затягивать и объявил обсуждение по кругу. Как всегда, записывал кое-что в свой блокнот, который потом сравнивал со стенограммой, и бывало забавно: иногда он записывал точнее (потому что короче, чем выступающий), а что-то забывал записать, для этого стенограмма пригождалась. Выступили в этот день примерно так:

РЫЖКОВ. В Москве не из-за дефицита мяса Ельцину отдали 90 процентов голосов — мясо в столице есть. Мы получили страшное наследство, но и сами допустили ошибки. Ничто не потеряно, у нас сильная партия, сильное государство... Обращаю внимание членов Политбюро, что газеты ЦК выступают против ЦК.

ВОРОТНИКОВ. Не дать поколебаться тем из актива, кто не избран, чтобы они не почувствовали, что к ним изменилось отношение... Не прошли 14 командующих военными округами.

ЩЕРБИЦКИЙ. Рассмотреть в партийном порядке тех членов КПСС, кто в ходе избирательной кампании занимал антипартийные позиции.

ШЕВАРДНАДЗЕ. Надо приветствовать всех избранных. От прошлого отмежевываться. Без этого не спасти авторитет партии. Выборы проходили на переходном этапе. Народ ещё не получил материальных плодов перестройки, а то, что завоёвано в области других ценностей, воспринимается неоднозначно. Мы не сумели использовать то, что завоёвано в ходе перестройки, в частности достижения во внешней политике. Беспокоят выборы в республиках.

ЛИГАЧЁВ. Мы допустили серьёзный политический просчёт. Я имею в виду Прибалтику, там выбрали не тех. Перестройка вызвала противоречивую реакцию в обществе, отсюда голосование против партийных, хозяйственных и военных работников. Главная причина в том, какую позицию занимали средства массовой информации в отношении истории партии, партийной работы. Негативную позицию накапливали в сознании людей. Это очень опасно. Мы должны помнить, что в Венгрии и Чехословакии в 1968 году всё начиналось со средств массовой информации...

Дисциплина в партии сейчас хуже, чем в беспартийной среде.

МЕДВЕДЕВ. Многие пустили на самотёк. Секретари обкомов и райкомов боролись между собой за депутатские места. Преобладает критический настрой не в отношении перестройки вообще, а того, как она идет... В Венгрии, Чехословакии был общий кризис, оттуда взялись и оппозиционные журналы. Хотя, согласен, пресса не должна поддаваться нездоровому настроению. С ней нужно работать.

СОЛОВЬЁВ. В Ленинграде все семь партийных руководителей, представители административных и военных кругов не прошли. Есть у нас противники, и мы их недооценили. Они работали по месту жительства, а мы лишь внутри коллектива. Не только некоторые средства массовой информации, но даже «Правда» и «Известия» нанесли удары по партийным руководителям... Партию так измазали с головы до ног, причём все её поколения, что это не могло не сказаться... Избирательная кампания показала, что идёт борьба за власть.

ЧЕБРИКОВ. Тех, кто потерпел поражение, сохранить и поддержать. В Армении пикеты были у избирательных участков, составлялись чёрные списки. Прибалты разъезжали по всей стране, агитировали против партийных кандидатов, аж до Якутска добрались.

ЗАЙКОВ. МГК и райкомы оказались в опале. Кто выступал в поддержку партийной платформы, сразу проигрывал. Значит, по существу, настроение было против власти. Райкомы не могут работать. Надо потребовать от средств массовой информации прекратить дискриминацию партаппарата. Имели место посягательства на флаг, на гимн. Появились трёхцветные флаги. Коммунисты требуют съезда КПСС.

ПУГО. Нападок на партию много. Есть опасность, что итоги выборов начнут изображать как поражение КПСС. Надо не допустить, чтобы такая оценка стала гулять... Муссируется тема многопартийной системы. В Прибалтике народные фронты добились всего, чего хотели. Предстоит националистический август.

ЯКОВЛЕВ. Ни о каком поражении речи идти не может и не должно. 84 процента избирателей пришли голосовать, и избрано 85 процентов коммунистов. Это референдум за перестройку. Немножко мы испугались. На самом деле, советский народ проголосовал против застоя и командно-административной системы, против бесхозяйственности и разгильдяйства... У нас эмоциональное отношение к прессе. Меня больше беспокоит другое — когда газета по десять раз пишет об одном и том же, но никакой реакции со стороны партийных и других органов не следует.

МИРОНЕНКО. Нельзя политику обижаться на свой народ. Многие партийные комитеты оказались просто не готовы работать широким фронтом. Сказалась привычка командовать через орготделы, остались методы прямого руководства комсомольскими организациями со стороны райкомов.

ЛУКЬЯНОВ. Пятая часть секретарей партийных организаций не прошла... Существенно, что большинство военных голосовало против партийных секретарей. Надо поддержать тех, кто не прошёл.

МАСЛЮКОВ. Надо настраивать людей на то, что неизбежны инфляция, рост цен, трудности с продовольствием, замораживание зарплаты. Чтобы оздоровить финансовую систему, нужны драконовские меры...

* * *

В этом раскладе одним из самых забавных — но и раздражающих — было поведение Соловьёва Юрия Филипповича, ленинградского первого секретаря. Проиграв на выборах, он был, кажется, в полной панике... Слово раненый или ушибленный пёс, он скулил в голос, потом начинал истерически лаять, но срывался опять на жалобу. Однако не только кусать, но и жаловаться надо с разбором, а он... «Партию измазали с головы до ног»... Ну так и ты измажь противников, и будете квиты!

Соловьёв попросил Михаила о личном приёме, и тот назначил с отсрочкой на неделю, причём предупредил через помощника, что у них будет час для разговора. Пробежал ещё раз его личное дело: «по характеру добродушный». Вот и плохо...

Соловьёв был осанистый мужик ростом с Ельцина и с похожей седой шевелюрой, даже более промыто-встопорщенной, будто новенькая синтетическая швабра. И по специальности он был строителем, как и Ельцин, только выходец из «Метростроя» ленинградского, потому и сделал его министром промышленного строительства, кандидатом в члены Политбюро... Правда, вернули в Ленинград, когда забрали оттуда Зайкова, и вот — крах карьеры, в чём Соловьёв, конечно, обвиняет «реформы» и «новые свободные выборы»...

...А может, это ты, Юрий Филиппович, слишком «добродушный», как о тебе гласит твоё личное дело?

Таких «добрых» Михаил терпеть не мог: лишь по виду они мужчины! Рост, бас, костюм, секретарша, машина... А припугни — и тут же бас превратится в подвывание,

да и то не всегда! Быть в голос уже значит — проявлять характер, а эти, бывает, побито, молча выполняют всё, что им прикажешь. И не только сверху, они боятся и тех, кто снизу! Злая бабёнка прорвётся на приём: дай мне льготу, а то устрою скандал! И даст! «Тихо, тихо, только не шуми...»

* * *

Михаил решил, что заменит Соловьёва на Гридасова.

Гридасов был в Ленинграде «восходящей звездой». Это был человек из военно-промышленного комплекса, один из так называемых «красных директоров». Щупленький, очкастый, агрессивный; Горбачёв понимал, что с Гридасовым, скорее всего, тоже возникнут большие проблемы, но они возникнут позже, а пока — он годился для того, чтобы с его помощью вытеснить Соловьёва. Понимал ли сам Соловьёв, что Горбачёв решил заменить его на Гридасова?

И вот в назначенный день Соловьёв явился для личной беседы. Повёл он себя ожидаемо хитро: ни на кого уже не жаловался, а бодро докладывал, что у него «есть план действий». То есть он решил цепляться за власть в Ленинграде.

— Ну что ж, я желаю вам успехов! — лицемерно напутствовал его Миша. — Пусть всё успокоится; работайте с депутатами: вы коммунист, большинство из них коммунисты, так что настройте их на конструктивную работу на съезде...

(Ничего не получится! — Миша это знал заранее. Как может человек, проигравший на выборах, «настраивать на работу» в Москве тех, кому он проиграл? Тут уж совсем надо быть тряпкой, на это даже Соловьёв не способен...)

Дело усугубил ещё и Лигачёв: он провёл решение (через Политбюро, Миша утвердил) отправить в Ленинград Воротникова, чтобы тот, мол, разобрался от имени центра. И Воротников пробыл в Ленинграде три дня: с 16 по 18 мая 1989-го; естественно, всё только запутал. Хотя напомнил ленинградцам, что они, типа, часть целого... Важнее было другое: смотрины, которые Гридасову устроил Вадим Медведев. (Вадим Медведев, щупленький аппаратчик в больших очках, похожий на Шурика из комедий Гайдая, играл в это время роль технического заместителя или секретаря Горбачёва.)

Напрямую Гридасова Миша пока приглашать не стал, а вот якобы случайную встречу они организовали.

* * *

В назначенный час Медведев привёл Гридасова в приёмную, и Горбачёв якобы случайно в неё вышел. Гридасов был невысокий жилистый человек тоже с синтетической шваброй волос тёмно-каштанового цвета, с чёрными зубками и нездорово-розовым цветом лица, будто очень много пьёт крепкого чая. Горбачёв сделал вид, что его не узнаёт, поприветствовал Медведева:

— Здравствуй, Вадим. Как дела твои?

— Здравствуйте, Михал Сергеич... Как раз решаем по Ленинграду. Познакомьтесь: Гридасов, Борис Владимирович.

— Гридасов? — Миша сделал вид, что впервые слышит имя, а тот чернозубо ухмыльнулся... Мол, знаем, что вы знаете, не притворяйтесь... Миша чуть не вспылал! «Ах ты... учёная тварь из военно-промышленного комплекса!..» Он смотрел поверх головы Гридасова, поверх его чисто промытых, шелковистых, шваброй встопорщенных тёмных волос. Но и тот набылся, стоял молча, не уступал. Заторопился, наконец, Медведев:

— Михал Сергеич, может, вы скажете пару напутственных ему? Всё-таки в Ленинграде он пользуется...

— Пройди ко мне! На минутку, — Миша как бы снизошёл, пригласил к себе в кабинет обоих. Ещё и не сразу зашли! Потом сели, по разные стороны стола для заседаний. Миша — в торце, как бы между ними. — Я слушаю вас. Как обстановка в Ленинграде?

— Вы знаете... Обстановка... непонятная... — Гридасов, наконец, начал нервничать, как и положено подчинённому в кабинете начальника. Зачем-то открыл портфель и достал пачку бумаг. — Вот, например... — протянул Михаилу «Приглашение от Генконсульства США»: «Лекция "Как сменить строй в России"». — Вот до чего дошло... Про смену строя нам говорят!

— Вот как даже? — Горбачёв взял, повертел приглашение. — Можно я себе его оставлю? Подарю президенту Бушу в качестве сувенира...

— Там уже дата... Прошла эта лекция.

— Ничего, как сувенир сойдёт... И как прошла?..

— Ну, мы... отключили свет, вскоре после начала... — Гридасов опять грязненько ухмыльнулся. — Послали пожарных, так что... Очистили помещение!

— Вот это по-нашему! — Горбачёв хохотнул. — Держите их в форме, правильно...

американцев. Не надо, чтобы они распускались. Но не надо и нам возвращаться полностью к административно-командным методам. Всё-таки у нас гласность! — Миша произнёс ещё пару округлых фраз... Не нравился ему Гридасов! Но и бунт в Ленинграде не нужен был... Так что пока — сойдёт! Он встал: — Товарищи, я, к сожалению, занят... Рад был познакомиться лично... — он пожал Гридасову тёплую мягкую ручку. — Ещё увидимся! — и отошёл к своему столу, сделал вид, что перебирает бумаги.

— И я рад, Михаил Сергеевич. Спасибо за напутствие!

— Всё, пока, Вадим! — Горбачёв сделал знак Медведеву. — Работайте с ним по вашей программе.

Он снял трубку телефона и озабоченно листал записную книжку, ожидая, пока двое выйдут... И вдруг заметил на стуле, на котором сидел Гридасов... американский флажок, что ли?

Михаил подошёл, взял смятую глянцевую открытку, изображающую американский флаг и сложенную пополам, изнутри склеенную чем-то... Грязной жвачкой? Он заглянул внутрь, а там на белом по-русски было написано шариковой ручкой: ХАРКОТИНА.

— Тьфу! — бросил на пол... Это что же? Я смотрины — и мне смотрины? Чёрная метка?

Вспомнились грязные письма, подкинутые Раисе якобы от любовников, рассказы Яковлева, Шевардадзе о том, что им начали подбрасывать всякую дрянь на участки, даже и к ступенькам крыльца... Эти случаи как раз сейчас расследовались. Но если уж генеральному... И кто? — планируемый на первого в Ленинграде... Ну, допустим, это он мог случайно, вместе с этим пресловутым пригласительным на лекцию... Горбачёв ещё раз рассмотрел американский пригласительный билет, нашёл папку с надписью «Джордж и Барбара» и вложил туда. А гадость, оставленную Гридасовым, не трогал, так и валялась на полу до вечера...

И ещё одно было — отвратительное, уже вечером, на даче.

Он приехал, когда стемнело. Был пасмурный апрельский вечер — сыро на улице, а хорошо, весна! Предложил Раисе: походим по дорожкам! Она обрадовалась:

— Вот это кстати! Я давно не занималась: хотела в спортзал сегодня, но где там...

— Спортзал! — хмыкнул Миша. — Я уж и забыл... Давай ноги разомнём!

Они пошли, хрустя мокрым гравием. Булькало что-то: здесь и там, на газонах, в низинках. Весенние ручейки... Туда не ступи: увязнешь! Утром по дороге в Кремль он видел: берёзовый лесок сошёл с ума от весны: голые ветки казались — иные зелёными, иные розовыми, дымчатыми, голубоватыми... Сейчас от фонарей тени утолщались, веточка бросала тень, будто мощный сук.

...И вот надо же — сама кривая их вывела! Никогда не ходили сюда, а сегодня Михаил сам свернул, и прошли лишних метров двести по дорожке, упёрлись в забор. И вдруг на дорожке, в свете фонаря, блеснуло: опять звёздно-полосатое!

— Не бери! Не трогай! — это Раиса крикнула, но он уже подскочил, повинувшись гневному импульсу: тронул носком туфли, пальчиком дёрнул за обёртку... Шибануло воню: дерьмо! Завёрнуто было в глянцевый американский флажок: красно-белые полосы, а внутри опять на белом, между коричневыми разводами, накарябано что-то: *Погсти...*

— К чёртовой матери! — Михаил отпустил пальцы и, вытирая их о пальто, вернулся к Раисе, взял её под руку, уводя. — Всю охрану сменить, всю службу!

— Как Александр Николаевич Яковлев, да! — поддержала Раиса. — Он всех поменял...

— Я им покажу! Я сейчас пришлю сюда дворника, начальника охраны...

Но охрана ничего потом не нашла: сделали вид, будто не поняли: на какой дорожке, в каком месте... Михаилу вспомнилось кое-что — в связи с работой — и стало не до распекания дворников.

А вскоре вообще — так закрутило, так начало бить и корёжить... На этом съезде по новой формуле, с новой открытостью... Непогода крепчала: шли такие валы, которых никогда не бывало: затопят, сметут... Но за ними поднималось вообще уже что-то невыразимое: водяные горные хребты и пики невиданного шторма.

Глава пятнадцатая

Хотя Мармеладов и был членом ЛИТО Ройзмана и считался одним из кандидатов на вступление в Союз писателей, но за «кандидатство» никто зарплату не платит, а в печать его рукописи принимали туго, гонораров пока не было... Работа в порту, всё в том же коносаментном отделе, оставалась его главным, чуть ли не единственным заработком...

...В коносаментную днём зашёл необычный человек. А может, как раз подчеркнуто

обычный, непритязательного вида. Среднего росточка, скорее худой... Одет в свободный чёрный костюм; волосы со лба назад «по-прокурорски». Если присмотреться, возраст впритык к пенсионному. Иными словами, человек этот мог ещё застать и Хрущёва, и Сталина — что-то сталинистское было в его облике...

(На миг он показался Мармеладову большим муравьём, насекомым; лицо его отличало чернотой, и какое-то похрустывание слышалось...)

Станным было то, что прохаживался этот мужчина с видом хозяина, молча заглядывая во все помещения, то есть имел какие-то права. При этом начальник коносаментной Долинин его подчёркнуто не замечал: сидел в своём кабинете — как всегда, с открытой дверью — и читал бумаги.

... — Вы заняты? — спросил Долинина пришелец.

— Извините, сейчас я закончу дела с таможней...

— Хорошо, я подожду...

И мужчина униженно присел в кабинете Долинина, что совсем уж озадачило Мармеладова. Присел в уголке, за тем низким столиком, который предназначался для подчинённых или для неформальных бесед.

...В прищельце чувствовалась обречённость, что ли: будто человек год за годом погружается во всё более страшную беду, но вместо того, чтобы с ней бороться, лишь всё дотошнее выполняет обязанности...

Наконец, Долинин захлопнул дверь, и там внутри начался деловой разговор... Позже Мармеладов узнал, что это Стародубцев Борис Иванович, бывший начальник ТЭКа, а ныне — замначальника порта по информационно-вычислительной технике.

...Иными словами, это было начальство на два-три этажа выше Долинина, как если бы генерал-полковник зашёл к простому майору. Но так, как вёл себя Долинин, порой ведут себя люди при реорганизациях: тот, кого могут сократить, не только не лебезит, но может даже и хамить. Типа, «мы работаем по утверждённому плану, остальное до лампочки».

Однако компьютеризацию порта и пароходства нельзя было не заметить... Вначале в коносаментную привезли с полдюжины «персональных компьютеров» заграничного производства. Вернее, это были просто мониторы с клавиатурами, подсоединённые к тому самому ИВЦ — Информационно-вычислительному центру, — который всё чаще упоминали в разговорах.

ИВЦ представлял собой загромождённые мрачные комнаты, на первом этаже того же здания — вплотную к въезду на контейнерный терминал, — где располагалась и диспетчерская Третьего района. В ИВЦ работали две симпатичные девушки, которым полагалось звонить из коносаментной, если компьютеры зависали.

Одна из них была совсем неземной скромности и красоты блондинка, Таня. Работавший у них в коносаментной Никонов, человек не вполне адекватный (которому, впрочем, прощали грубость за то, что он «недавно развёлся»), попытался даже вызвонить эту белоснежку Таню из ИВЦ в коносаментную:

— Будьте добры, подойдите срочно!.. Вы обязаны ликвидировать зависание.

Мармеладов оторопел, услышав это: она же «богиня», как можно? Но, видимо, вызвать «богиню» одним звонком было кайфом для Никонова... Таня, впрочем, не явилась, сбой исправили дистанционно.

...Одновременно с компьютерами появились в коносаментной и принтеры, и ксероксы. И вся работа поначалу раздвоилась: некоторые пароходы оформляли по-старому на фиолетовой копирке, спиртовыми ротаторами, другие уже по-новому. Новое оборудование явно стоило в сотни раз дороже прежнего, зато — технический прогресс!

Принтеров поначалу было два. Советский напоминал увеличенную «космическую парту» или трибуну для выступления сразу двух ораторов бок о бок. Иными словами, он был большой, стоял на полу и высотой был по грудь человеку, работал с мягким завыванием, похожим на звук реактивного самолёта, летящего в отдалении. Перфорированную бумагу он выпускал гармошкой, её потом рвали по сгибам.

Рядом поставили принтерок японский, который, неприятно тарахтя и опошляя научно-техническую революцию, выдавал на такой же бумаге то же самое, только другим шрифтом. Занимал места гораздо меньше, чем советский, а стоил, наверное, гораздо дороже.

Для работников коносаментной хорошо было то, что они за эту технику не отвечали, а в случае поломки звонили на ИВЦ или в пункт обслуживания ксероксов. Сами пока пили чай или всё тот же разбавленный спирт. Но отказывала техника только вначале, а примерно через год начала работать без сбоев, так что не посачкуешь.

Телефонные аппараты на столах и чайная комната остались без перемен, так же как и раскладушки для сна по ночам. И постепенно стало казаться, что ничего не поменялось.

* * *

...Однако же в стране и в мире положение дел менялось, и очень сильно...

В восемьдесят девятом (кроме выборов по новой системе в Верховный Совет) произошло ещё одно, не всеми замеченное событие. О нём даже не сразу заговорило радио «Свобода», которое слушал Мармеладов, несмотря на заглушку. А именно: правительство Венгрии убрало колючую проволоку на границе с Австрией. Якобы столбы кому-то показались некрасивыми, а мы цивилизованные люди и будем ездить через КПП, границу будем соблюдать, несмотря на отсутствие заграждений.

Однако немцы из ГДР оказались не столь цивилизованными. Тысячи их хлынули сначала в Венгрию, а потом напрямик через луга — пешком — в Австрию, а оттуда — в Западную Германию. То есть Берлинская стена оказалась обойдённой и бесполезной. Режим Хонеккера выражал Венгрии протест за протестом, а советский посол в Бонне Квицинский заявил, что «венгры сделали канцлеру Колю королевский подарок». Тут спохватились и западные радиоголоса и месяцами только об этом и говорили...

Например, о том, что всё зависит от Горбачёва: он может вмешаться, и колючую проволоку на австро-венгерской границе восстановят... Но он не вмешивался! Наоборот, как будто сам поощрял Центральную Европу к переменам, например, в разговоре с польским премьером Раковским одобрил проведение «круглого стола», то есть сотрудничество польского правительства и антисоветской «Солидарности», которая никакого сотрудничества вовсе не хотела, а добивалась только легализации... И получила её косвенно, через Горбачёва. Западные голоса объявляли: Горбачёв «отпускает» страны Варшавского договора. Хотя мог бы проявить резкость, и его бы поддержало и большинство в советском Политбюро, и правительства этого самого Варшавского блока.

* * *

Мармеладов записал впечатление от захода в отдел этого Стародубцева — не то бывшего их, не то и нынешнего начальника... Но упёрся в слово «сталинист», и дальше — никуда.

А ведь в нём что-то было... Эта покорность: сказали подождать, и ждёт... В этом чёрном просторном костюме читалось самопринуждение или самобесправие; на нём было написано «жди ухуждения»: как бы спуск в некую шахту.

(И потом этот странный похрустывающий звук, и сходство Стародубцева с большим муравьём...)

Ведь совершаем ошибку, подумал Мармеладов, когда внушаем улучшение жизни; не жаждет ли человечество, наоборот, ужесточения условий?

Но в коносаментной и не пахло самоограничением; мода была на новшества и изобилие в стиле Запада. В одной из смен, Жени Бураковского, врубали кассетный магнитофон с западной рок-музыкой; видно, не без споров, но отвоевали это право. Так было уже тогда, когда он только сюда устроился. А что, ведь принято в некоторых отделах не выключать радиоточку? Работают под музыку и новости, а мы будем под рок-н-ролл!

...Это шляние по коридору — даже и пританцовывание — в джинсах и свитерах, не означало, однако, снижения выработки. Приказы диспетчера Бураковского выполнялись послушно, что утверждало способность рок-хипстера работать не хуже тоталитарного пролетария. (А может... — крамольная мысль: и лучше?)

Ещё в одной смене диспетчер Селищев открыто сожительствовал с оператором множительной техники Галей Козыревой. Это вообще был уклад, не поддающийся определению «Восток» или «Запад». Принуждение — но снизу или сверху? Вспышки его гнева бывали убедительны, но если их не было, то она вызывала их сама, искusstвенно.

Когда стало ясно, что горбачёвская открытость — дело серьёзное, Селищев уволился из порта и начал работать помощником Ванессы Редгрейв, британской правозащитницы. А оператор Галя Козырева перешла в смену Мармеладова, которого к тому времени сделали диспетчером.

Но до этого, казалось, ещё далеко... Вначале, летом 87-го, его дёрнули на военные сборы в Подмоскowie, вернувшись с которых он ненадолго попал в смену к Лёше Голутве, тоже работавшему диспетчером. Русоволосый, полнеющий... украинец, что ли? Голутва имел кличку «Кабан», но был скорее приятен и лицом, и обхождением. (Смен было четыре, а диспетчеров пять или шесть, но это нормально, иначе что делать во время отпусков или больничных?) Лёша Голутва был единственным в коносаментной, кто имел машину: только что вошедшую тогда в моду «восьмёрку», ВАЗ-2108.

Подвозя Мармеладова до метро, он цитировал наизусть какой-то западный журнал:

... — Необычную оперативность проявили русские: скрестили двигатели и подвеску Порше и Фиат-Фиорино, получили отличный переднеприводной автомобиль...

— ...Откуда, если не секрет, твои доходы? — спросил Мармеладов. — Если вопрос бестактный, не отвечай... Но, как я вижу, на зарплату коносаментной никто автомобиль не приобрёл. Значит, есть подработка?

— А чего ж не ответить: портняжим мы. Я и закройщиком работаю, и на машинке строчу. Нужных людей обшиваю. Так что, если есть мысли о костюмчике...

— Спасибо, буду иметь в виду...

Чтобы не одалживаться, Мармеладов ездить, конечно, предпочитал на трамвае. Иногда летней ночью уходил со смены так поздно, что и трамвая уже не дождёшься, и метро закрылось. От проходной Третьего района до метро Автово было минут тридцать-сорок пешего ходу.

Но как-то делалось не по себе... Городские туфли, костюмчик — всё это не вполне для четырёхкилометровых марш-бросков по асфальту проезжей части, так как тротуары были тут не везде. Держаться трамвайной линии, чтобы не заплутать в ночном городе... Маршрут тянулся вдоль бетонных и кирпичных заборов, мимо тополевых посадок, по пустырям, лишь в конце них угадывалось что-то фабрично-заводское.

...Наплывала сверху, из жидкой тьмы, совсем чёрная тень трубопровода над дорогой. Шелестел ветер в леторослях тополей, почти не охлаждал грудь под рубашкой, лицо и волосы: лето, оно и в Ленинграде лето.

Хулиганов Мармеладов с детства привык опасаться, но это в центре Питера, а в производственных зонах вроде как не шалили... И всё-таки с облегчением достигал первого ряда сталинских домов: берегового рифа, в который упирался прибой пустырей. А близко от станции Автово зеленел огонёк такси или двух: стоянка. До Старо-Невского отсюда стоило ровно три рубля, хоть по счётчику, хоть без; а зарплата — уже за двести, в разгар перестройки вообще перевалила пятьсот.

* * *

Ежедневно близ полудня в порту проводилось селекторное совещание, на которое Долинин брал вахтенный журнал коносаментной, через полчаса возвращал его на стол диспетчеру, и становилось ясно: льготные будут или суматошные две смены. Если почти одновременно заканчивали погрузку теплоходов в четыре, пять (бывало и такое), значит, придётся бегать всю ночь.

При отсутствии Долинина на селекторном обязан был сидеть сменный диспетчер. Так и Мармеладов, когда стал сменным диспетчером, услышал живые голоса портовского начальства, из селектора в кабинете начальника филиала ТЭКа на Третьем районе Беленко, в том же коридоре, всего через три двери от входа в коносаментную.

Совещания эти, как машина времени, уносили в эпоху гибельных сталинских пятилеток...

Беленко сидел спиной к окошку, как бы за верхней «планкой» буквы Т, а по бокам «ножки» Т-образного стола примостились всего-то «каргопланщик» и «эсвэтэшник»¹ (кроме начальника коносаментной), — выражение их лиц было скорбно-мужским, совсем иным, чем обычно. Такое было впечатление, словно ты в крематории или на кладбище, на похоронах. Надорванно-траурно звучал в динамиках чей-то усталый начальственный голос, а чей — спрашивать, конечно, было неудобно...

... — Начинаем селекторное совещание. Первый район порта, доложите о проделанной за сутки работе!..

У всех сидящих, включая Беленко, перед глазами блокнот, в который пока можно не писать, но когда дойдёт до их — Третьего — района, записать будет нужно. По левую руку от Беленко — телефоны разновидности, предназначенной, кажется, лишь для начальственных кабинетов. В корпусах цвета слоновой кости, они ещё полвека потом — судя по телерепортажам — красовались в кабинетах уже и рыночной России. Но главное, металлом блестел на столе Беленко тот самый селекторный пульт, который позволял включить громкую связь и не в трубку телефона бубнить, но — перед строем кнопок-солдат — говорить командно.

— ...Грузится теплоход «Ульянов-Ленин», закончил погрузку контейнеровоз «Вальтер Ульбрихт», выводка в семнадцать часов...

Похожая на скороговорку аукциониста, речь говорящего иногда вдруг запиналась, что позволяло тому, кто вёл совещание, вкатиться с лихим разносом.

— Погрузка теплохода «Николай Доризо», к сожалению, задержалась...

— ...Кто дал право задерживать погрузку?! Объясните, начальник Второго района...

...Ого, уже Второй район; приближаются к ним, — Мармеладов перечитывал вчерашнюю запись... В принципе, всё было заранее ясно: такое-то судно грузится, такое-то отходит, но могли что-то ускорить, а что-то, наоборот, остановить...

... — План на сутки: тысяча тонн! — припечатывал начальник, и у Мармеладова от

¹ Сотрудник СВТ («Союзвнештранса») — экспедирующей организации тех лет.

этих слов «тысяча тонн» кружилась голова... Вот она, административно-командная система! Её вознамерился сломать Горбачёв, против неё, как стая бешеных псов, гавкали журналисты... Но она ещё действовала.

В «низах» хапали зарплаты и премии, а здесь, в «верхах» — как на траурном митинге или как на эшафоте — ещё мнились лагеря и расстрелы, ещё чудилась какая-то «персональная ответственность».

... — Переходим к Третьему району, — грохотал голос в динамиках. — Что с погрузкой «Гарри Поллита», доложите!

Все в кабинете Беленко напрягались, хотя слово начальнику филиала ТЭКа на Третьем районе не давали никогда, — может, раз в год или в пятилетку, при каком-нибудь уж самом крайнем ЧП.

Мармеладов записывал быстро произнесённые названия судов и время окончания погрузки и расслаблялся, когда речь переходила на Четвёртый район, на Угольную гавань...

... — Закончено совещание! — отрубал начальствующий, и Беленко щёлкал кнопкой на своём пульте, а Мармеладов, помедлив для порядка, попрощался и уходил.

Как почти не давали слова ТЭКу, так и Беленко лишь совсем редко добавлял от себя сидящим перед ним, а обычно просто расходились или каргопланщик оставался уже по-свойски погутарить с начальством.

И Мармеладов выходил в коридор другим человеком...

Когда появился у них, в своём чёрном свободном костюме, начальствующий Стародубцев... в те дни как раз проводились антиперестроечные митинги в Ленинграде. Моросил дождями, налетал холодным ветром ноябрь 89-го.

«План на сутки — тысяча тонн!»

Командная система ещё правила, — этот голос звучал в мозгу, заставляя думать о том, что... При чём тут вообще рынок? Где в мире порты и транспортные узлы работают не по команде?

...Но так же планировалась вся индустрия. На портовских совещаниях упоминали количество вагонов, требуемых в сутки, количество человеко-часов, — дальним обертоном звучала угроза дисциплинарных мер.

Аппарат шёл в свой последний бой.

Окончание следует